Анри Труайя

Иван Тургенев

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Славянский колосс с резкими чертами лица и мягким характером, увлекающийся и способный на глубокие чувства и абсолютно чуждый политическим страстям, великодушный человек, преданный родине и открытый всем соблазнам Европы, – таким предстает перед нами загадочный Иван Тургенев. Великий писатель, воссоздавший жестокое и реалистичное полотно русской жизни, он прожил долгое время за границей, что стоило ему осуждения и отторжения от литературной и интеллектуальной среды Москвы и Петербурга. Поклонник знаменитой певицы Полины Виардо, он сорок лет следовал за ней из страны в страну, довольствуясь своим двусмысленным положением.

Вокруг этой удивительной четы Анри Труайя мастерски воссоздает космополитический и пестрый мир второй половины девятнадцатого века.

- Анри Труайя
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Глава IX
  - Глава X
  - Глава XI
  - Глава XII
  - Глава XIII
  - Глава XIV
  - Глава XV
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52

○ 53

Анри Труайя
Иван Тургенев

Посвящается 185-летию со дня рождения Ивана Тургенева

Глава I
Спасское

Варвара Петровна Тургенева, урожденная Лутовинова, любила во всем порядок. Едва оправившись от родов, она велела принести свой дневник и пометила там твердой рукой: «1818 года, 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле в своем доме в 12 часов утра». Это был ее второй ребенок. Первый – Николай – появился на свет двумя годами раньше. Она гордилась рождением двоих сыновей – фамилия Тургеневых будет жить в поколениях.

Это была старинная дворянская семья. Род Тургеневых восходил к татарскому мурзе – Льву Тургену, и начиная с XVI века Тургеневы участвовали в военной и политической жизни на службе у великих князей московских. Среди них был «мученик» Петр Тургенев, казненный самозванцем Дмитрием за то, что отказался признать его царем. В XVIII веке знаменитый род стал угасать, его состояние быстро уменьшалось. Закат Тургеневых совпал с расцветом Лутовиновых. Эта семья, происходившая из Литвы, была менее известна, но богата. Все ее члены отличались независимым и властным характером, были алчными и жили в свое собственное удовольствие. Жадный, грубый дед Варвары Петровны устроил расправу над крестьянами, во время которой погибло 12 человек. Ее мать, рано оставшаяся вдовой, вышла замуж за некоего Сомова, также вдовца, у которого были две взрослые дочери. Варвара Петровна с детства стала мишенью для его грубости и впоследствии в шестнадцать лет должна была защищаться от знаков его внимания. А когда умерла мать, отчим попытался овладеть ею. Спасаясь, она бежала из дома полуодетая, зимой, шестнадцать верст до Спасского-Лутовинова – имения дяди по отцовской линии, – попросила убежища и приюта. Суровый дядя согласился взять ее под свое покровительство. Однако холостой самодур был так жесток с ней, что она скоро возненавидела и его. В течение десяти лет Варвара Петровна выносила его притеснения. Ссоры были ежедневными. Во время очередного скандала – грозясь оставить племянницу без наследства – Иван Лутовинов неожиданно умер. Эта внезапная смерть превратила Золушку в царицу Орловской губернии. Варвара Петровна стала владелицей огромной усадьбы в Спасском, двадцати деревень и более пяти тысяч крепостных крестьян. На этот раз она решила, что возьмет над несчастьями реванш. Варваре Петровне было тогда двадцать шесть лет. На ее

некрасивом лице с массивным подбородком и носом с широкими ноздрями оставались следы оспы. Единственным украшением ее были большие, лучистые глаза. Варвара Петровна имела мужские привычки. Она любила скакать на лошади, упражнялась в стрельбе из карабина, играла с мужчинами в бильярд. Властная, пылкая, жестокая – настоящая наследница Лутовиновых, она – владелица большого состояния – привлекала внимание соседских помещиков. Среди них Варвара Петровна довольно скоро выделила небогатого офицера – Сергея Николаевича Тургенева, молодого (разница составляла шесть лет) любимца женщин, – и решила остановить свой выбор на нем. Сергей Николаевич не противился. Бедный, обремененный долгами офицер, имевший одну-единственную деревеньку и 130 душ крепостных крестьян, не мог противостоять прелестям некрасивой, но предприимчивой барышни, которая приносила в приданое пять тысяч крепостных. У этого атлета с томным взглядом было холодное сердце и здоровый аппетит. 13 января 1816 года он женился на Варваре Петровне и поселился с ней в Орле. Пять лет спустя полковник Сергей Николаевич Тургенев вышел в отставку и переехал с семьей в большую усадьбу жены Спасское-Лутовиново в десяти верстах от Мценска. Там родился третий сын – Сергей. Больной, наполовину парализованный мальчик умрет в возрасте шестнадцати лет.

В Спасском отставной полковник жил пышно и праздно. Не так давно он, не смущаясь, ухаживал за красивыми женщинами в Орле, а теперь имел связи с незамужними крестьянками Спасского. Варвара Петровна устраивала бесконечные сцены ревности. Сергей Николаевич переносил их иронично-хладнокровно и ничуть не менялся в своем поведении. А обманутая супруга слишком любила своего мужа и не умела управлять им. Она страдала от того, что не могла укротить свои чувства к мужчине, но в то же время гордилась своим неукротимым характером. Она мстила за супружеские унижения, грубо обращаясь с прислугой.

В усадьбе, в которой она царила, имелось множество слуг, управляющих, гувернеров, крепостных певцов и актеров, оркестр. В нескольких сотнях метров от огромного, в сорок комнат, барского дома жили шестьдесят семей дворовых. Среди них были слесари, кузнецы, столяры, садовники, повара, землеустроители, портные, сапожники, обойщики, каретники… Маленькое сельское княжество, таким образом, жило своим замкнутым миром. Все необходимое производилось в усадьбе. Варвара Петровна гордилась тем, что не нуждалась в посторонней помощи для ведения своего дома. Она называла своего дворецкого

«министром двора». «Министр почты» доставлял ей корреспонденцию из Мценска. Письма должен был сначала просматривать «министр двора», и в зависимости от их содержания, для того чтобы подготовить хозяйку дома к чтению новостей, флейтист исполнял веселую или грустную мелодию. Каждое утро в назначенное время Варвара Петровна принимала в кабинете управляющего отчеты своего личного секретаря и управляющего и с высоты кресла, похожего на трон, отдавала приказания трепетавшим от страха подчиненным. У нее была своя полиция, состоявшая из отставных солдат. Суд ее был непререкаемым. Провинившихся крепостных наказывали кнутом. По ее приказу сослали в Сибирь двух крестьян, которые не сняли перед нею шапки; изменили русло ручья, беспокоившего ее сон. Верховые привозили из отдаленной деревни приготовленную для нее по особому рецепту кашу. А однажды, на Пасху, желая наказать крестьян, не оказавших ей достаточного почтения, Варвара Петровна запретила звонить в колокола.

Ее строгость между тем распространялась и на близких. Маленькие Иван и Николай трепетали перед матерью, которая обожала их и в то же время с удовольствием наказывала за мелкие провинности. «Драли меня за всякие пустяки, чуть не каждый день», – скажет позднее Тургенев. Мать устраивала расправу сама. А если мальчик запирался, приговаривала: «Сам должен знать, сам догадайся, за что я секу тебя». Отчаявшийся Иван решился даже однажды ночью бежать, но помешал немец-гувернер. Все его детство было отмечено тяжестью материнской власти. Он постоянно чувствовал себя виноватым перед этим деспотом в юбке. И в то же время испытывал тайное наслаждение, оттого что покорялся женщине. Сам того не сознавая, он чувствовал неясное удовлетворение, оттого что подчинялся, ненавидя, оттого что уступал, сопротивляясь.

Природная гордость напоминала о себе во время игр с крестьянскими ребятишками. С ними он был хозяином. Знавшие с рождения свое место мальчишки не давали ему во время потасовок сдачи. Он бегал с ними, играл в прятки, ловил птиц. Иван с детства очень любил птиц. Различал их по голосам и наблюдал, спрятавшись в кустах, за тем, как они порхают с ветки на ветку. Он присматривался к деревьям, папоротникам, мхам. Выросший в деревне, он, как простой крестьянин, имел непосредственное мышление. Однако если крестьяне в большинстве своем были равнодушны к природе, среди которой жили и работали, то его восхищал молочный туман над прудом, березовые рощицы с дрожащей листвой, старый дуб с пораженной молнией верхушкой, которая служила гнездом для вороньей

четы. А от запаха свежескошенного сена, как от приближения красивой женщины, кружилась голова. Он впитывал воздух глубинной, деревенской России каждой своей клеточкой. Старый слуга Федор Лобанов привил ему, по его собственному признанию, любовь к поэзии. В повести «Пунин и Бабурин» Тургенев опишет этого простого крестьянина, любителя изящной словесности, с которым он усаживался в траве на поляне за прудом, и тот с пафосом читал стихотворения Хераскова и Ломоносова. Федору не нравилось, что обучение детей Тургеневых было доверено немецким и швейцарским гувернерам. Он говорил, что был единственным человеком, который защищал красоту России от этой когорты чужеземцев. «От российского вы отклонилися, – вздыхал он, – на чужое переклонилися, к иноземцам обратилися…» Прижавшись к его плечу, Иван хмелел от суровой, вдохновенной речи. Благодаря Лобанову он научился читать и писать по-русски.

В библиотеке Спасского было несколько книг русских классиков. Иван тайком, увлеченно читал их. Он восхищался «Россиядой» Хераскова. Если Варвара Петровна предпочитала западную культуру, то Сергей Николаевич, вероятно, наперекор жене хотел, чтобы его сыновья прекрасно знали свой родной язык. Он советовал им упражняться в письме на русском и даже вести дневник, в котором следовало бы делать записи «в понедельник – по-французски, во вторник – по-немецки, в среду – по-русски и так далее по очереди».

На всю жизнь Иван сохранил тревожные и трепетные воспоминания о холодном, сдержанном отце и вспыльчивой, жестокой, деспотичной матери. Они – причина его преклонения перед женщиной и причина его ненависти к крепостному праву. «Я родился и вырос в атмосфере, где царили тумаки, щипки, пинки, оплеухи», – скажет он позднее. (Я. Полонский. «Тургенев в свой последний приезд на родину».) И еще: «Свою раннюю ненависть к рабству и крепостничеству я приобрел, наблюдая окружавшую меня среду, очень безобразную…» (Письмо от 1 (13) апреля 1875 года.)

В 1827 году семья выехала в Москву. Девятилетнего Ивана и одиннадцатилетнего Николая поместили в частный пансион Вайденгаммера; через два года – в армянское учебное заведение, среднюю школу, которой руководил инспектор Краузе. Несколько месяцев спустя Варвара Петровна забрала оттуда Ивана – он продолжил обучение дома, а Николая перевели в артиллерийское училище в Санкт-Петербурге. Чтобы совершенствовать знания Ивана, мать пригласила учителей, среди которых был поэт Клюшников. Они должны были готовить его к поступлению в

университет.

В 14 лет Иван был юношей высокого роста, немного сутулый, с тонкими чертами лица и задумчивыми серыми глазами. Тургеневы знали Жуковского, стихотворениями которого восхищалась вся Россия, и Загоскина, автора знаменитого исторического романа «Юрий Милославский». Оба писателя, которых Иван, вероятно, встретил в одном из дворянских салонов, сошли, казалось ему, с самого Олимпа. Чтобы быть в курсе русского литературного движения, он читал журналы «Телескоп» и «Московский телеграф». Однако к его художническим увлечениям уже присоединялись увлечения любовные. Нарождавшуюся чувственность пробуждала поэзия, природа, женщина.

Он очень рано испытал физическое влечение. Это произошло в деревне на каникулах. «Я был совсем юным и невинным, – рассказывал Тургенев Эдмону де Гонкуру, – и имел желания, которые имеют все в пятнадцать лет. У моей матери была красивая горничная. Это произошло в дождливый день – один из тех эротических дней, которые описал Доде. Начинало смеркаться. Я гулял по саду. Вдруг эта девушка подошла ко мне, коснулась моих волос и сказала: „Пойдем!“ То, что последовало потом, – сенсация, подобная тем сенсациям, которые мы все испытываем. Но это легкое касание волос и это единственное слово я часто вспоминаю и бываю совершенно счастлив». (Гонкур. «Дневник», 27 января 1878 года.) В другой раз во время ужина у Флобера Тургенев поведал своим друзьям: «Вся моя жизнь пронизана женским началом. Ни книга, ни что-либо иное не может заменить мне женщину… Как это объяснить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, какого не может дать ничто другое. А вы как думаете? Послушайте-ка, в молодости у меня была любовница – мельничиха из окрестностей Санкт-Петербурга. Я встречался с ней, когда ездил на охоту. Она была прехорошенькая – блондинка с лучистыми глазами, какие встречаются у нас довольно часто. Она ничего не хотела от меня принимать. А однажды сказала: „Вы должны сделать мне подарок!“ – „Чего ты хочешь?“ – „Принесите мне мыло!“ Я принес ей мыло. Она взяла его и исчезла. Вернулась раскрасневшаяся и сказала, протягивая мне свои благоухающие руки: „Поцелуйте мои руки так, как вы целуете их дамам в петербургских гостиных!“ Я бросился перед ней на колени… Нет мгновенья в моей жизни, которое могло бы сравниться с этим!» (Гонкур. «Дневник», 2 марта 1872 года.)

Однако эти первые любовные радости, должно быть, затронули его не так глубоко, как юношеское платоническое

приключение, которое произошло в ту пору, когда он еще не знал женщин. Однажды летом – ему было тогда тринадцать лет – он жил на даче против Нескучного в окрестностях Москвы. Дача его родителей находилась рядом с дачей княгини Шаховской, девятнадцатилетняя дочь которой, красивая, высокая, стройная Екатерина, очаровала его. Он без памяти влюбился и трепетно ухаживал за ней до тех пор, пока не узнал, что она была любовницей его отца, что тот грубо обращался с ней, а она покорно, как простая крестьянка, сносила такое обращение. Без малого тридцать лет спустя этот эпизод вдохновит его на создание повести «Первая любовь». В ней он скажет: «Матушка моя << … >> беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась – но не в присутствии отца; она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно… Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного». И еще: «Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к тому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и наслаждался этим другим вполне: „Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни“, – сказал он мне однажды».

Мимолетное приключение с Екатериной Шаховской принесло Тургеневу двойное разочарование. Девушка, которой он романтически хотел бы посвятить жизнь, осталась равнодушной. Кроме того, его счастливым соперником был его собственный отец. Однако он не возмутился, а смирился, так как понимал, что молодая женщина отдала предпочтение такому уверенному в себе, изысканному человеку, каковым был Сергей Николаевич. Много лет спустя героиня «Первой любви», в образе которой узнается Екатерина, скажет своему поклоннику, так похожему на юного Ивана: «Я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил!» А Иван не мог «сломить» женщину. Он мог только обожать ее. И плакать, завидуя решительности отца. Что касается матери, то, искренне жалея ее, он тем не менее понимал, что со своим скандальным и жестким характером она никого не могла бы удержать подле себя. Ведь и сам он бывал счастлив только в ее отсутствие.

К счастью, учеба все больше и больше отдаляла его от отчего дома. В 1833 году он поступил в Московский университет на филологический факультет. В следующем году родители перевели его в Санкт-Петербургский университет, который имел гораздо более высокий авторитет. Он был рад, так как окончательно освобождался, как ему казалось, от материнской опеки. Кроме того, он жил рядом с Николаем, старшим братом,

кадетом артиллерийского училища столицы. Он едва привык к новой, студенческой жизни, как 30 октября 1834 года от каменной болезни скончался отец. Тургенев переживал, конечно, но не слишком глубоко. Он восхищался уверенностью отца, его успехами у женщин, но они никогда не были по-настоящему близки друг другу. Его тревожила собственная холодность, которая таилась за внешней оживленностью. Он с юных лет спрашивал себя – способен ли он на глубокое чувство? Впечатлительный до крайности, он легко увлекался, бывал несдержанным. Случалось так, что он интересовался кем-то из новых знакомых, начинал дружить с ним, очаровывал его восторженными речами, все это искренне, а некоторое время спустя – с той же непосредственностью – напрочь забывал о нем. Тем не менее целый загадочный пласт оставался в нем нетронутым. В то время смерть отца огорчила его тем больше, что принесла изменения в личной жизни. Отныне присматривала за ним и направляла его только мать, но она была далеко!

Он твердо решил стать хорошим студентом. Прилежно посещал лекции, тщательно готовился к экзаменам, ему нравилась эта заполненная работой и вместе с тем восторженная жизнь. Он бывал на торжественных лекциях знаменитых профессоров в переполненных аудиториях, на шумных собраниях, которые проходили при свете свечи в комнате с низким потолком. Здесь, в сигаретном дыму, сидя вокруг самовара, не переставая спорили о Боге, о политике и будущем человечества, вдохновенно читали и строили грандиозные планы. Молодые люди считали себя революционерами, проклинали крепостное право и клялись только на Гегеле. Тургенев последовал за ними. Он знал деревенскую жизнь и осуждал крепостничество с большим самозабвением, чем его товарищи. Критикуя рабство, он будто оказывал сопротивление матери.

Обсуждение социальных проблем не мешало ему понимать, что его призвание – литература. Узнав о том, что Гоголь, известный в то время автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки», будет читать лекцию в университете по всеобщей истории, он поторопился в лекционный зал. Разочарование было полным: «Он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и все время ужасно конфузился, – напишет он. – Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории». (И.С. Тургенев. «Литературные и житейские воспоминания».)

Несколько недель спустя он побывал на премьере «Ревизора» Гоголя, однако не оценил пьесу по достоинству. Он часами

спорил с новым другом Грановским, увлекался, критиковал и мечтал однажды достичь славы самых великих. В 1834 году он сочинил поэму «Стено» – подражание байроновскому «Манфреду» – и после года колебаний передал рукопись, а также несколько других более скромных произведений профессору русской литературы Плетневу, личному другу Пушкина и Жуковского, который очень гордился их дружбой. В целом это был доброжелательный, обладавший прекрасным вкусом человек. Плетнев прочитал поэму Тургенева, нашел ее посредственной, незрелой, однако посоветовал автору продолжить писать и даже пригласил к себе на литературный вечер.

Тургенев волновался, собираясь на эту встречу. Первую встречу с настоящими писателями! Потрясения начались в прихожей. Перед ним сам Пушкин прощался с хозяином дома. У Плетнева не было времени представить их друг другу. «Да! Да! Хороши наши министры! Нечего сказать!» – заключил Пушкин и тотчас вышел. Тургенев никогда не забудет его смуглого, восторженного лица. Под впечатлением от этой неожиданной встречи он вошел в гостиную, где познакомился с другими известными писателями: Воейковым, Гребенкой, Одоевским, Кольцовым. Однако все его мысли были заняты короткой встречей с Пушкиным. Ему доведется увидеть его еще раз несколько дней спустя на утреннем концерте. «Он (Пушкин. – **А.Т.**) стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей – и кудрявые волосы… Он и на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом – вообще он казался не в духе – и отошел в сторону». (И.С. Тургенев. «Литературные и житейские воспоминания».) Некоторое время спустя после этой встречи 27 января 1837 года Россию потрясло страшное известие: француз Жорж Дантес убил Пушкина на дуэли. Эта трагическая смерть взволновала Тургенева, наверное, больше, чем смерть отца. Он шел в траурной толпе за открытым гробом с телом поэта. Полтора месяца спустя новый траур – умер младший брат Сергей.

Несмотря на переживания, он успешно сдал экзамены в университете и даже передал одному из своих преподавателей – Никитенко – несколько стихотворений собственного сочинения. «Препровождая Вам мои первые, слабые опыты на поприще русской поэзии, – писал он ему, – я прошу вас не думать, чтоб я

имел малейшее желание их печатать, и если я прошу у Вас совета, то это единственно для того, чтобы узнать мнение Ваше о моих произведениях, мнение, которое я ценю очень высоко». (Письмо от 26 марта 1831 года.) И признался ему, что уже перевел часть «Отелло» и «Короля Лира» Шекспира. Никитенко одобрил поэтические опыты своего ученика. Благодаря ему в начале апреля 1838 года «Современник» опубликовал стихотворение Тургенева «Вечер», однако без подписи. Тургенев был счастлив, читая свои стихи, напечатанные в знаменитом журнале. Может ли быть, чтобы он, скромный студент, маменькин сынок, был на пути, ведущем на небосклон поэзии? Склонный к сомнениям, он быстро успокоился и продолжил, как того требовала Варвара Петровна, учиться. Только мать с недоверием относилась к наукам, преподаваемым в российских университетах. Для нее, как и для большинства людей ее сословия в России, свет знаний исходил из Берлина. Несмотря на печаль, связанную с предстоящей долгой разлукой, она хотела, чтобы ее сын завершил образование в Германии. Он не думал возражать, радуясь возможности отдалиться от нее на значительное расстояние, даже проложить границу.

Глава II
Учеба. Мечты

15 марта, плача и крестя, Варвара Петровна провожала сына на пристань. Она настояла на том, чтобы Иван поехал в Германию, а теперь жалела о своем решении и с грустью смотрела, как он поднимался на борт парохода «Николай I», который должен был переправить его из Петербурга в Любек. Он тем временем с нетерпением ждал, когда корабль отчалит наконец от берега. До последней минуты мать докучала ему угрозами, наставлениями и назиданиями. Оказавшись в открытом море, покорный сын почувствовал себя свободным человеком. Ему было двадцать лет. Вся жизнь была впереди. Повернувшись лицом к ветру, он вдыхал морской воздух и с трепетом слушал, как шумит вода в лопастях колес. В салоне первого класса было несколько женщин из высшего общества. Мужчины играли в банк. Тургенев присоединился к ним, несмотря на то что обещал матери не прикасаться к картам. 18 марта во время игры – ему только начало везти – к их столу подбежала взволнованная женщина, воскликнув: «На корабле – пожар!» Панический страх охватил пассажиров. Все устремились на палубу. «Беспорядок был невообразимый, – напишет позднее Тургенев, – чувствовалось, что отчаянное чувство самосохранения охватило все эти человеческие существа и в том числе меня первого. Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матушки, если ему удастся спасти меня». (И.С. Тургенев. «Пожар на море» – автобиографический рассказ, записанный по-французски Полиной Виардо в 1883 году.) Он с ужасом смотрел на клубы дыма, валившие из-за трубы и вверх по мачтам, и думал лишь о том, как спастись. Не владея собою, жалобно стонал: «Умереть таким молодым!» И, расталкивая женщин и детей, пробирался к спасательным лодкам. К счастью, берег был недалеко. Капитан посадил пылающий пароход на мель, пассажиры пересели в лодки. Оказавшись на земле, Тургенев устыдился своей трусости. К радости от того, что удалось спастись, примешивалось чувство стыда за недостойное поведение перед столькими людьми, которые, конечно, расскажут обо всем матери. В самом деле, о его поведении на корабле стали рассказывать анекдоты в русских салонах. Рассерженная Варвара Петровна написала сыну: «Почему могли заметить *на пароходе* одни твои ламентации… Слухи всюду доходят! – и мне уже многие говорили к большому моему неудовольствию…» «Ce gros

Monsieur Tourgueniev, qui se lamentait… qui disait mourir si jeune <<…>>[1] Там дамы были, матери семейств. – Почему же о тебе рассказывают. Что ты gros Monsieur – не твоя вина, но! – что ты трусил, когда другие в тогдашнем страхе могли заметить… Это оставило на тебе пятно, ежели не бесчестное, то *ридикюльное*». (Письмо от 14 марта 1839 года.) (*франц.*).

Таким образом, даже на расстоянии мать журила его, как мальчишку. Он постарался об этом забыть, погрузившись в университетскую жизнь Германии. Берлин, куда после морского приключения он добрался в экипаже, был в то время небольшим, тихим, чистым и скучным городком. Немцы вставали в шесть утра, работали весь день, и в десять вечера дома закрывали двери; пустынные улицы, охраняемые ночными сторожами, засыпали. Этот погруженный в размеренную жизнь городок был между тем островком знаний. В университете Тургенев добросовестно слушал лекции по греческому, латыни, истории и особенно прилежно – гегелевской философии. По приезде в Берлин он сблизился с группой русских студентов, идейным вождем которых был Станкевич. В центре разговоров студентов было учение Гегеля. Следуя взглядам почившего учителя, они утверждали, что исторический путь человечества – абсолют, что мир движется к своему концу. Эта концепция обосновывала, казалось им, покорность самодержавной власти. Другие между тем считали, что то же учение Гегеля может быть положено в основу революционного учения. Коль скоро движение сопротивления существовало в народе, следовательно, у него были на то основания. Как обоснован был строй, против которого оно выступало. Оказавшись в этом водовороте идей, Тургенев не решался определенно высказать свое мнение. Всю свою жизнь он будет избегать крайностей.

Впрочем, он с большим удовольствием сочетал идейные баталии со светскими развлечениями: бывал на балах, в маскарадах, театрах, гарцевал на лошади и гордился счастливой связью с госпожой Тютчевой, матерью четверых детей. Дабы присматривать за сыном, Варвара Петровна отправила в Берлин в качестве писаря одного из своих крепостных – Кудряшова, человека мягкого характера, образованного, незаконного сына ветреного Сергея Николаевича. Сводный брат был немного старше Тургенева и всей душою предан ему. Однако помнил о своем долге и отчитывался в письмах к Варваре Петровне о жизни Ивана в Берлине. Иван и сам регулярно писал матери, любовь которой к сыну стала еще сильнее из-за разлуки. В дневнике она писала: «C'est que Jeant c'est mon soleil à moi, je ne vois quois que lui et lorsqu'il s'eeclipse, je ne vois plis clair».[2]

И далее: «Будь ты уверен, что ты – звезда моя. Я на нее гляжу, ею руководствуюсь, тебя жду… жду… жду!» Она ревностно требовала, чтобы сын рассказывал в подробностях самые интимные детали своей жизни. Если он задерживался с ответом, то, желая успокоить себя, она приказывала брать перо в руки Кудряшову. В случае длительного молчания грозилась выместить досаду на слугах: «<<Я>>, кажется, довольно снисходительна. – Но!.. Ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно *Николашку*[3] высеку… – Жаль мне этого, а он прехорошенький и премиленький мальчик; и я им занимаюсь, он здорово и хорошо учится. Что делать, бедный мальчик будет терпеть, брат… – Смотрите же, не доведите меня до такой несправедливости». (Письмо от 13 ноября 1838 года.) Иногда, чтобы заставить его писать, она жаловалась на здоровье, которое якобы расстраивается из-за невнимания сына: «Пиши, или я не отвечаю за свою жизнь, за свой разум». (Письмо от 16 ноября 1838 года.) В своих сердечных посланиях она называла его «моя доченька, моя Жанетта». «Вы все для меня, – писала она. – Ты и твой брат. Я вас страстно люблю, но люблю по-разному. А ты меня особенно заставляешь страдать».

Сына не очень трогали эти пылкие признания. Чем жестче мать утверждала свою власть, тем больше он мечтал о женской нежности. Она не била теперь его, но продолжала грубо обращаться с ним. Он принимал ее проявления любви и ее упреки, как когда-то принимал хлыст. Узнав о том, что сын стал любовником госпожи Тютчевой, она порадовалась по-мужски, цинично: «Я тебе советовала прочитать „Сорокалетнюю женщину“. Это мой ответ на письмо о Тютчевой. Я прошу тебя взять эту книгу и прочитать ее. Я тебе искренне желаю такую женщину, старую… Для мужчины такие женщины – состояние. Слава Богу, если ты соединишься с такой на некоторое время». Госпожа Тютчева вскоре умерла. Тургенев постарался забыть горе в обществе женщин, менее уважаемых.

Рассеянная жизнь не мешала ему писать стихи, которые он не осмеливался кому-то показывать и складывал в ящик письменного стола. Тем не менее петербургский «Современник» опубликовал его стихотворение «К Венере Медицейской», которое он подписал «…в» и передал Никитенко. Тургенев не до конца осознал свою первую маленькую победу. Ибо Россия с золочеными куполами, березовыми лесами, крестьянами была далеко. Он больше был расстроен известием матери о том, что сгорел старый дом в Спасском. Она умоляла его приехать хотя бы на несколько дней. Он с неохотой согласился.

Встреча со Спасским, с его покрытыми туманом прудами,

пустыми осенними полями и старыми почтительными слугами была неожиданно радостной. Страстный охотник, Тургенев уходил из дома на заре с ружьем наперевес, возвращался поздно, счастливый, проголодавшийся, любовь к животным, квазипантеистическое отношение к миру не мешали ему испытывать удовольствие от охоты на куропаток и зайцев. Он по-настоящему наслаждался, испытывая глубокое чувство полного слияния с природой. По возвращении из длительных охотничьих путешествий он страдал, оттого что должен был вновь встречаться дома со своим бессменным воспитателем – матерью. Заполучив любимого сына, она стала еще более непреклонной, еще более требовательной, еще более назойливой, чем раньше. После нескольких лет независимой жизни в Германии Тургенев с трудом переносил этот ежечасный надзор над собой. Он сказал об этом матери. Она рассердилась. «Если бы я был на твоем месте, – писал Ивану брат, – я бы не поехал, чтобы вновь переносить эти муки, эти крики и скуку, я бы ежедневно благодарил бога за возможность жить на свободе». (Письмо от 16 октября 1840 года.)

Устав от скандалов матери, Тургенев 23 октября 1839 года внезапно уехал в Петербург. Он прожил там несколько недель, побывал в литературных кругах, встретил наряду с другими знаменитостями Лермонтова на одном из литературных вечеров у княгини Шаховской и некоторое время спустя на новогоднем маскараде в дворянском собрании. «В наружности Лермонтова, – напишет позднее Тургенев, – было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовывался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ». (И.С. Тургенев. «Литературные и житейские воспоминания».) Он не посмел подойти к поэту, который после стихов на смерть Пушкина стал предметом особой ненависти властей и любимцем светских салонов.

В середине января 1840 года Тургенев, страстно мечтавший о новых путешествиях, покинул Россию и через Вену добрался до Италии. Благородные памятники Рима, веселый нрав его обитателей покорили Тургенева. Там он встретился со своим берлинским товарищем Станкевичем, который к тому времени был уже тяжело болен туберкулезом. Этот скромный, сдержанный, образованный человек казался Тургеневу существом почти неземным из-за простоты и мужества, с которыми готовился к смерти. Они сдружились еще больше во время прогулок по древнему городу и окрестностям Латиума. Вдохновленный красотой итальянских пейзажей. Тургенев стал

брать уроки живописи. По вечерам любил бывать в гостеприимном доме Ховриных, где, как повелось, вздыхал по хозяйке дома. Однако без особой надежды. Посетив Неаполь, Помпеи, Геную, он с остановками отправился через озеро Лэго-Маджори, перевал Сен-Готард, Люцерн, Баль, Мангейм, Мэйнц, Лейпциг в Берлин. Приехав туда в июле, Тургенев узнал о смерти Станкевича. «Нас постигло великое несчастье, – писал он другу Грановскому. – Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой». (Письмо от 4 (16) июля 1840 года.)

Месяц спустя новый друг заменил в его сердце того, чью раннюю смерть он глубоко переживал. Тургенев познакомился и искренне привязался к Михаилу Бакунину, который, как Станкевич, был увлечен гегелевской философией. Красноречивый Бакунин – гигант с румянцем во всю щеку, густой темной шевелюрой и огненным взглядом – был сыном богатого помещика, который пошел против отца и выступил против самодержавия. Сестры обожали его. Тургенев преклонялся теперь перед ним. Оба высокие, безупречно одетые, представительные – они были неразлучной парой, сидели рядом на лекциях, кутили в кафе, жили в одном доме. Однако главным звеном в этой связке был Бакунин. Тургенев следовал за ним на некотором расстоянии. Он в глубине души восхищался природной силой друга, но боялся излишне увлечься. Как бы там ни было, успехи в учебе были блестящими. Для него больше не существовало секретов в немецкой философии. Сдав успешно экзамены, он вернулся в Россию и провел каникулы в Спасском и Москве.

Удовольствие от охоты, мечтаний и отдыха на старом кожаном диване в Спасском было испорчено перепадами в настроении матери. Она стала еще более жестокой в обращении с крестьянами и не переносила, когда сын становился на их защиту. Единственным человеком, к которому она сохранила нежность в этом железном царстве, была двенадцатилетняя девочка Варя[4]. Варвара Петровна обращалась с ней как с воспитанницей, однако на самом деле это была ее внебрачная дочь, отцом которой был не кто иной, как домашний врач Андрей Евфстафьевич Берс[5]. Непримиримая женщина, так страдавшая от неверности мужа, была, таким образом, снисходительна к своим собственным слабостям.

Тургенев любил играть с маленькой Варей, к которой относился как к своей младшей сестре. Однако по-настоящему его интересовали другие вещи. Робкого, стеснительного молодого человека привлекали к себе крестьяне. Он с интересом

посматривал в лорнет на сельских девушек. Одна из них – Авдотья Иванова – стала его любовницей. Нежная блондинка, белошвейка Варвары Петровны, не помнила себя от счастья, заметив знаки внимания молодого барина. Узнав об их связи, Варвара Петровна выгнала Авдотью из Спасского. Несмотря на гнев матери, Тургенев увез девушку и поселил ее в маленькой квартирке в Москве. В апреле у Авдотьи родилась дочь, которую при крещении назвали Пелагеей.

Взволнованный Тургенев сообщил Варваре Петровне и попросил снисхождения к матери и ребенку. «Ты странный, – отвечала ему мать, – я не вижу греха ни с твоей, ни с ее стороны. Это простое физическое влечение».

Получив таким образом прощение высшей инстанции, Тургенев целиком отдался новому увлечению. С Татьяной – одной из сестер Михаила Бакунина – он встретился в усадьбе Бакуниных Премухино, куда приехал в гости. Татьяне было двадцать семь лет, она была прекрасно образована и мечтала о деятельной жизни. Воспитанная на романтической литературе, страстно любившая Новалиса и Рихтера, увлекавшаяся Гегелем и Фихте, она представляла свое будущее ярким, романтическим. Брат был ее кумиром. Красивый, восторженный, блестяще образованный. Они были близки друг другу. Тургенев для Татьяны стал тем мужчиной, которым хотелось восхищаться, верить ему. У него был благородный вид – высокий рост, правильные черты лица, задумчивые глаза, густые темно-русые волосы. Он был безупречно одет в изысканного цвета жилет и узкие панталоны со штрипкой. Он был таким блестящим рассказчиком! Восхищенная Татьяна сказала себе, что Господь послал на ее пути гения. Тургеневу льстил ее интерес. Он рассматривал свое отражение в ее глазах и нравился себе. А Татьяна не была красива. С длинного лица с грубыми чертами смотрели большие грустные глаза. Но как противиться влюбленным требовательным взглядам? Их разговоры становились все более задушевными. Сближение, которого Тургенев поначалу так желал, вдруг испугало его. Поиграв нежными словами, он удивился пожару, который сам разжег. Рядом с пылкой девушкой он должен был признать, что не создан для сильных чувств. Его естественное состояние – нерешительность, умеренность, не приводящая ни к чему игра. Вихрь чувств почти захватил его, однако он отступил, дабы сохранить свое спокойствие. Он постарался объяснить Татьяне, что их отношения будут идеальными, если не зайдут дальше бесед. Она была жестоко обманута. Он решился тотчас объясниться в письме: «Мы так разошлись и так чужды стали друг другу, что я не знаю, поймете ли Вы причину, заставившую меня

взять перо в руки… Вы можете, пожалуй, подумать, что я пишу Вам из приличия. <<…>> И чувствую, что я не навсегда расстаюсь с Вами… Я Вас увижу опять… моя добрая, прекрасная сестра. <<…>> Я никогда ни одной женщины не любил более Вас – хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью. <<…>> Вы одна меня поймете: для Вас одной я хотел бы быть поэтом, для Вас, с которой моя душа каким-то невыразимо чудным образом связана. <<…>> О, если б я мог хоть раз пойти с Вами весенним утром вдвоем по длинной, длинной липовой аллее – держать Вашу руку в руках моих и чувствовать, как наши души сливаются и все чужое, все больное исчезает, все коварное тает – и навек». (Письмо от 20 марта 1842 года.)

Несмотря на эти пылкие уверения, она тотчас поняла, что наскучила ему. Несколько месяцев спустя их отношениям суждено будет возобновиться. Татьяна попросила Тургенева дать Михаилу, задолжавшему в Берлине своему немецкому издателю, тысячу рублей, которые со временем будут выплачены из доходов с поместья брата. Просьба пришлась не ко времени. У Тургенева не было денег, а просить у матери он не мог. Он выполнил ее с большим опозданием, сопроводив отправление довольно холодным письмом. Это оскорбило Татьяну. Она написала, что не может понять «его холодного презрительного тона». Он не счел нужным ответить. Любовь заканчивалась ссорой. Тургенев почти сожалел, что посвятил Татьяне стихотворение «Дай мне руку, пойдем мы в поле». Литературное вдохновение его в это время было на взлете. Он легко пишет стихи и публикует их в «Отечественных записках», подписывая «Т.Л.»[6], работает над одноактной драмой «Искушение Святого Антония». В 1843 году за той же подписью «Т.Л.» выходит отдельным изданием поэма «Параша». Это было изящное, живое и вместе с тем грустное произведение, которое напоминало поэмы Пушкина и Лермонтова. Русская деревня, влюбленная в первый раз девушка, герой, похожий на Евгения Онегина, свадьба и в завершение этого триумфа банальностей – «насмешливый бес». Ничего нового, однако талант рассказчика, верный выбор деталей, гармоничный музыкальный стиль не вызывали сомнений. Критик Белинский, познакомившийся к этому времени с Тургеневым, отозвался лестно о «Параше» в статье, опубликованной в «Отечественных записках». Он отметил «верную наблюдательность, глубокую мысль, выхваченную из тайника русской жизни, изящную и тонкую иронию, под которой скрывается столько чувства».

Другие критики встретили Тургенева сдержанно, даже холодно. Однако мнение Белинского взяло верх. Тургенев видел себя знаменитым. Мать, прочитав «Парашу», была растрогана до

слез: «Не читала я критики, но в „Отечественных записках“ разбор справедлив и многое прекрасно… Я – кухарка Вольтера – не умею выразить. Но – согласна, что то, что было похвалено в „Отечественных записках“ – все справедливо… Сейчас подают мне землянику. Мы деревенские все материальное любим. Итак, твоя „Параша“ – твой рассказ, твоя поэма – пахнет земляникой». (Письмо от 25 июня 1843 года.)

Теперь Тургенев жил в Петербурге у брата Николая, офицера столичного полка, который разорвал отношения с матерью, женившись на немке Анне Шварц, дочери слуги Варвары Петровны. По примеру мятежного брата Тургеневу также захотелось независимости и свободы. Он успешно сдал устные экзамены по философии и писал сочинение для сдачи магистерских экзаменов. Он хотел стать преподавателем философии в Московском университете. Однако вскоре передумал, не завершив начатой работы. По правде говоря, карьера не интересовала его. Его вполне устраивали полученные знания и праздная жизнь. «Ты не хочешь служить, – упрекала его мать. – Бог с тобой, не служи, живи покойно, где хочешь, как хочешь. Ты любишь писать, гулять, стрелять, путешествовать. Кто тебе мешает? Живи зиму в Петербурге, веселись, будь в театре. Весной поедем в деревню. Лето проведем в вояжах. Осень – охотиться. Дай нам жить около себя». И еще: «Пиши с Богом, удачно – будешь продолжать; надоест – бросишь. И концы в воду. Твое назначение другое, других услуг ждет от тебя отечество». (Письмо от 19 июня 1843 года.) Она хотела, чтобы сын служил. Без особого желания, следуя ее требованиям, он добился места в Министерстве внутренних дел в отделе этнографа Даля.

Достойная служба оставляла много свободного времени для сочинения и развлечений. Он без труда написал пьесу «Неосторожность», несколько лирических стихотворений, которые опубликовали «Отечественные записки», и принялся за перевод «Фауста» Гете. В то же время он бывал в кружках, салонах, театрах, не без удовольствия играя роль светского щеголя. Романтичный, склонный к иронии, он раздражал обидчивых и очаровывал тех, кому нравилось его красноречие, взгляд его серо-голубых глаз. «Возникло общее мнение о нем, – напишет Анненков в своих воспоминаниях, – как о человеке, никогда не имеющем в своем распоряжении искреннего слова и чувства. <<…>> Цели юного Тургенева были ясны: они имели в виду произведение *литературного эффекта* и достижение репутации *оригинальности*».

Однако этот казавшийся легкомысленным и самовлюбленным молодой человек был способен на большие чувства. Жажда

эффекта была не чем иным, как следствием молодости и неопытности. 28 октября 1843 года он познакомился на охоте с Луи Виардо, мужем певицы Полины Виардо, талантом которой восхищался весь Петербург. Некоторое время спустя он услышал ее в партии Розины в «Севильском цирюльнике». Первого ноября 1843 года его представили той, кому накануне он аплодировал. Тургенев почувствовал, что жизнь его решительно меняется. Полине 22 года. Она не была красива. У нее были грубые черты лица, широкий рот, большие выпуклые глаза, сутулые плечи. Однако Тургенев тотчас оказался во власти ее чар, которым он не мог противостоять. Застыв от восхищения, он едва нашел несколько слов для комплимента. А мужу ее написал: «Ваша жена было бы неверно сказать – величайшая, она, по моему мнению, *единственная* певица в дольнем мире». (Письмо от ноября 1843 года.)

Глава III
Полина Виардо

В 1837 году шестнадцатилетняя Полина – дочь великого испанского тенора, сестра знаменитой Малибран[7], – впервые взошла на подмостки. Она спела во всех столицах Западной Европы и в 1841 году вышла замуж за Луи Виардо, директора итальянской оперы в Париже, который был двадцатью годами старше нее. Этот снисходительный, просвещенный, скромный человек взял на себя рядом с ней неблагодарную роль мужа знаменитой женщины. Ей тем временем сопутствовал неслыханный успех. Ее мощное, мягкое, широкого диапазона контральто, дар трагедийной актрисы покоряли самых требовательных слушателей. В Санкт-Петербурге, где итальянская опера только что начала гастроли, ее встретили как победительницу. С раннего утра у театральных касс толпились студенты, чтобы заранее купить билеты. После каждой ее арии зрители аплодировали, стучали ногами, кричали. Поклонники «несравненной» от театра до самого дома с криками сопровождали ее экипаж.

Принятый в ближайшем окружении дивы, Тургенев проводил все свои вечера рядом с ней, среди обожателей, которые толпились в ее уборной. Под снисходительным взглядом Луи он соперничал с другими в любезности и ловил каждое ее слово. Она тем временем с царственной грацией позволяла ухаживать за собой. В ее глазах Тургенев был очаровательным молодым человеком, имевшим скорее репутацию охотника, нежели поэта. На полу уборной лежала большая шкура белого медведя с вытянутыми лапами и золочеными когтями. Право сидеть на одной из этих лап напротив Полины Виардо было самой большой привилегией. Тургенев занимал – и этим очень гордился – лапу № 3. Другие лапы были предназначены какому-то генералу, графу и некоему Гедеонову, сыну директора императорских театров. Именно Гедеонову певица отдавала предпочтение. И, вне всякого сомнения, дарила ему знаки любви. Тургенев надеялся заменить его однажды в сердце и даже – почему бы нет? – в постели волшебницы. Ради нее он разорялся на цветы и подарки. По традиции маленького двора каждый из поклонников должен был во время антракта рассказывать историю. В этой игре Тургенев был сильнейшим. Его импровизированные рассказы нравились Полине. Она слушала их полулежа на диване. Постоянное присутствие в доме и общительность позволили ему мало-помалу

стать самым близким другом семьи. Его страстное увлечение Полиной совпало с оживлением литературной деятельности. Он публиковал в «Отечественных записках» стихотворение за стихотворением и начал писать первое произведение в прозе – «Андрей Колосов». Герцен, встретившийся с ним, вынес строгое суждение: «…Внешняя натура, желание выказываться и fautuite sans bomes[8]».

Два идейных течения разделяли в это время литературный мир империи: славянофилы, которые видели спасение искусства, философии и даже политики во всем русском, традиционном, православном, близости к земле; и западники, которые проповедовали исключительно пользу следования европейскому опыту. Первые ценили прошлое родины, ее самобытность, опасались влияния новых идей и считали, что Россия должна служить духовным светочем для человечества; вторые – были открыты миру, открыты прогрессу и мечтали о том, чтобы Россия соединилась с Европой.

Бывший студент берлинского университета, страстно любивший Шиллера, Гете, Жорж Санд, Гегеля, Фихте, Тургенев тяготел скорее к клану западников. Однако он так любил русскую землю, русский народ, что понимал и привязанность некоторых соотечественников ко всему, что составляло прадедовскую самобытность нации. Как бы ни была хороша наука, приобретенная по ту сторону границы, он был убежден в том, что душой и телом принадлежал своей огромной стране, каждая травинка которой была родной. Разве нельзя любить Запад, ценить его писателей, художников, музыкантов, философов, оставаясь при этом братом своих неграмотных крестьян, которые каждое воскресенье отправляются на службу в церковь? Что касается его, то он испытывал странную раздвоенную привязанность и к России, и к Европе. Кроме того, он не желал выбирать между славянофилами и западниками. В искусстве, как в политике, он не принимал резких мнений, категоричных суждений, интеллектуального фанатизма. В каждом предложении видел «за» и «против». Тем не менее он с удовольствием посещал кружки прогрессивно настроенной молодежи. Сын своего времени, он разделял их либеральные взгляды, но стремлений борца в себе не чувствовал. Только на встречах, которые проходили у Белинского, он испытывал чувство полной свободы. Когда же тот устроился летом на даче в окрестностях Санкт-Петербурга, он каждое утро приходил к нему. Белинский, который уже был тяжело болен туберкулезом, радовался этим встречам, пускался в горячие споры о Боге, о будущем человечества, о социальной несправедливости и новых течениях в

литературе. Жена Белинского тщетно умоляла его не горячиться. Приближалось время обеда – он забывал о нем. А так как проголодавшийся Тургенев торопился сесть за стол, Белинский восклицал: «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, а вы хотите есть!» Оба они переживали отставание России от цивилизованных государств. «Тяжелые тогда стояли времена! – напишет Тургенев. – Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым, литературным ведомством». (И.С. Тургенев. «Литературные и житейские воспоминания».)

И действительно, под жесткой властью Николая I страна, подавленная террором, замерла. Казалось, время остановилось. Роптали, но терпели. Белинский учил своих юных друзей видеть жестокость автократии в политике. «Если бы нас спросили, – писал он, – в чем состоит существенная заслуга новой литературной школы, – мы отвечали бы: в том << … >> что от высших идеалов человеческой природы и жизни она обратилась к так называемой „толпе“, исключительно избрала ее своим героем, изучает ее с глубоким вниманием и знакомит ее с нею же самою». (В.Г. Белинский. «Русская литература в 1845 году».) Следовательно, чем больше исключительных героев, тем больше обычных людей; чем больше грандиозных декораций, тем больше деталей обыденной жизни; чем более радужны мечты, тем более жестока действительность. В повести «Андрей Колосов» Тургенев порвал с романтическим идеализмом, с которого началось его творчество, чтобы описать хорошо знакомую студенческую среду. Таким образом, от элегических сюжетов он перешел к изучению нравов, и Белинский был признателен ему за обращение к его теории. «Я несколько сблизился с Тургеневым, – писал он Боткину. – Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседы и споры с ним отводили мне душу. << … >> Вообще Русь он понимает. Во всех его суждениях виден характер и действительность». (Письмо от 31 марта 1843 года.)

Вне всякого сомнения, под влиянием Белинского Тургенев решил неожиданно подать в отставку в Министерстве внутренних дел. Он не хотел больше заниматься папками и расписаниями. Только полная свобода действительно может, думал он, позволить ему стать настоящим писателем. Мать была в отчаянии. Порадовавшись первым успехам сына, она стала

бояться, как бы он не увлекся излишне жизнью богемы. «Какая тебе охота быть писателем? – спрашивала она его. – Дворянское ли это дело? По-моему, ecrivain ou gratte-papier c est tout un[9], тот и другой за деньги бумагу марают. Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомаранием». (В.Н. Житова. «Воспоминания».) Так как он не желал быть чиновником, она уменьшала содержание, которое отправляла ему ежемесячно. Временами, по словам Анненкова, у него едва хватало денег, чтобы оплатить обед. Тем не менее он продолжал посещать театр, но покупал теперь билеты на галерку. Когда певица и ее супруг уехали из Петербурга, он решил следовать за ними в Париж. 30 апреля 1845 года возмущенная Варвара Петровна писала своей подруге: «Пять дней тому назад Иван уехал отсюда с итальянцами. Он собирается отправиться за границу с ними и из-за них».

Во Франции Тургенев с первого взгляда был покорен красотой пейзажей и непринужденностью ее жителей. Виардо жили в замке городка Куртавнель, недалеко от Розе, в департаменте Сены-и-Марны, в шестидесяти километрах от Парижа. Тургенев гостил у них несколько дней. Он не мог надышаться счастьем. Он жил под одной крышей с любимой, дышал воздухом ее дома, слушал, как она мелодичным голосом пела по вечерам. Он стал близким другом ее мужа. Затем, опасаясь, видимо, наскучить и одному и другому своим излишне длительным присутствием, он отправился на юг Франции к Пиренеям.

Вернувшись в Петербург в середине ноября 1845 года, он часто мысленно возвращался к счастливым часам, проведенным в Куртавнеле. Он грустил, вспоминая листву парка, нежный свет Иль-де-Франс и образ Полины, стоявшей у фортепиано и певшей по вечерам для друзей. Он часто писал ей, чтобы поделиться трогательными воспоминаниями, которые хранил в памяти от пребывания в деревне, и просил не забывать его: «Я читаю все статьи прусских газет, которые вас касаются, прошу вас этому верить, и я был бы очень счастлив, очень доволен вашим триумфом в „Норме“. < < … > > Боже мой, как я был бы счастлив послушать вас этой зимой!..» (Письмо от 8 (20) ноября 1846 года.) Чтобы забыться вдали от «несравненной», он много работал. Писал стихотворения, статьи, повести, переводил. Кроме того, дал согласие постоянно сотрудничать в «Современнике».

Приблизительно в это время Тургенев познакомился с Достоевским, первый роман которого «Бедные люди» восторженно приветствовал Белинский. Этот человек не понравился ему. Он показался ему вычурным, неловким,

нелепым. Достоевский же думал иначе: «Тургенев влюбился в меня, – писал он брату. – Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован… – я не знаю, в чем природа отказала ему?»

Спустя некоторое время Тургенев и Некрасов написали вместе желчную эпиграмму на молодого, тщеславного и легковерного собрата:

Рыцарь горестной фигуры!
Достоевский, юный пыщ;
На носу литературы
Ты вскочил, как яркий прыщ.

Догадывался ли уже Тургенев, что автор «Бедных людей» станет главным его соперником в литературной карьере? Этот одержимый человек воплощал, на его взгляд, все то, что он сам ненавидел в искусстве: экстравагантность, многословие, отсутствие такта. Он обрадовался, когда Белинский некоторое время спустя дал критическую оценку второму роману Достоевского – «Двойник». Эти литературные перестрелки лишь на мгновенье отвлекали его от идеи фикс – он мечтал увидеть Полину Виардо.

В январе 1847 года она должна была петь в Берлине. Он поспешил туда. Мать с возмущением узнала о том, что он вот так тащится за шлейфом «проклятой цыганки». Однако у него был другой предлог для путешествия: Белинский, который уехал в Германию лечить туберкулез. Поездка стала возможной благодаря собранным друзьями средствам. Тургенев приютил его в квартирке, которую нанял в Берлине, и представил певице. Встреча разочаровала обоих, ибо Белинский не говорил по-французски, а Полина едва знала несколько русских слов. Натянутость отношений исчезла после того, как вместе услышали певицу в «Гугенотах», затем на концерте. Тургенев считал, что она превзошла самое себя. Накануне она играла «драматическую» роль, а сегодня – «трагическую». Его мнение разделил Анненков, который только что присоединился к друзьям. Белинский, Тургенев и Анненков устроились в Зальцбрунне, где Белинский должен был принимать лечение. В этом скучном городке, расположенном на тихих водах, Тургенев, не спеша, писал свои деревенские рассказы, гулял, разговаривал, в то время как Анненков взял на себя рядом с ним роль внимательного мемуариста и незаменимого человека. В маленькой компании царило дружеское согласие. Неожиданно Тургенев объявил друзьям, что должен уехать. Оставив им часть своего багажа, он

отправился в Лондон, где пела Полина Виардо. Спустя несколько дней он присоединился к ним в Париже и в ответ на вопрос о причине своего поспешного отъезда покраснел, пожав плечами. Однако они поняли, что для него любовь важнее дружбы, и сделали вывод, что он человек неуловимый, на которого нельзя положиться. Между тем Белинский, разочарованный лечением в Германии, лечился теперь в парижской клинике. Тургенев навестил его; однако, узнав о том, что больной собрался вернуться в Россию, забыл попрощаться с ним. И только из Куртавнеля, где вновь обрел пристанище, написал своему другу: «Вы едете в Россию, любезный Белинский; я не могу лично проститься с вами – но мне не хочется отпускать вас, не сказавши вам прощального слова… Мне нечего вас уверять, что всякое хорошее известие об вас меня порадует; я хотя и мальчишка – как вы говорите – и вообще человек легкомысленный, но любить людей хороших умею и надолго к ним привязываюсь». (Письмо от 5 (17) сентября 1847 года.) Ему не придется больше свидеться с Белинским, которого в следующем году не станет.

В Куртавнеле тем временем Тургенев с радостью погрузился в жизнь французской деревни с ее прекрасной музыкой, охотой, щедрой кухней. Он счастлив новой встрече с Полиной Виардо. Замок времен Франциска I с его серо-пепельными стенами, высокими окнами, башенками на остроконечных крышах, окруженный рвами, имел благородный вид. Перед фасадом замка – цветник. За ним – оранжерея. Взгляд терялся в пышной зелени. Окна комнаты Тургенева, оклеенной серо-зелеными обоями, выходили на бескрайние поля. Ветер доносит запах скошенной травы и лилий. На столе стоял букет полевых цветов. Идеальная атмосфера для работы! Удивительно, однако, что эта французская деревня вдохновляла его на создание глубоко национальных – русских рассказов. В Куртавнеле он жил во Франции, но мечтал о России. Минуты, проведенные с Полиной, оставались в его памяти. Гулял ли он с нею в поле, любовался ли красотой звездного неба, слушал ли ее пение, он всегда чувствовал себя счастливым рабом рядом с ней. Он обожал ее платья, ее банты, туфельки. Она же обходилась с ним с королевской снисходительностью. Луи Виардо, казалось, находил естественными эмоционально-дружеские отношения, которые связывали его жену с этим очаровательным русским эпикурейцем.

В начале октября 1847 года Полина Виардо уехала на гастроли в Германию. Куртавнель тотчас потерял свое очарование. Тургенев переехал в Париж, где нанял комнату недалеко от Пале-Рояль. «Я смотрю на играющих там во множестве ребятишек, – писал он Полине Виардо, – прелестных,

как амуры, и так кокетливо одетых! Их важная приветливость, их розовые щечки, которые пощипывает первый зимний морозец, спокойствие и благодушие нянек, чудесное красное солнце, просвечивающее из-за высоких каштанов, статуи, дремлющие воды, величественный вид темно-серого здания Тюильри – все это мне бесконечно нравится, успокаивает и освежает меня после утренней работы». (Письмо от 2 (14) декабря 1847 года.)

После этой уединенной прогулки он возвращался на Пале-Рояль, заходил в кафе, читал газеты, шел в ресторан Вефур пообедать и оттуда спешил в театр. Его видели в Варьете, в Комической опере, в Опере. В пространных письмах к Полине Виардо он рассказывал о спектаклях, деликатно и тактично советовал ей, как строить карьеру. Это были советы сведущего человека. Он из газет все знал о певице, радовался ее успехам и жалел, что не может услышать ее Норму или Ромео. Узнав о том, что она будет петь Ифигению, он посоветовал ей прочитать Гете, чтобы лучше понять роль.

Желая стать ближе к семье Виардо, которая стала почти его семьей, он начал брать уроки испанского и вскоре смог прочитать Кальдерона в подлиннике. Он продолжает интересоваться французской литературой. «Историю Французской революции» Мишле считает шедевром, с восхищением говорит о «Франсуа Найденыше» – последнем «простом, искреннем, захватывающем» романе Жорж Санд. «Ясно видно, – писал он Полине Виардо, – что ей (Жорж Санд) по горло надоели социалисты, коммунисты, пьеры-леру и другие философы, что она ими измучена и с наслаждением погружается в этот источник молодости – искусство простодушное и совершенно земное». (Письмо от 5 (17) января 1848 года.)

Тем временем круг его русских друзей в Париже расширился. Он часто видел Герцена, Огарева, Анненкова и только что приехавшую из Рима семью Тучковых, дочь которых тайно обожала его. «Росту он был почти огромного, широкоплечий; глаза глубокие, задумчивые, темно-серые; волосы у него были тогда (в 1851 году) темные, густые, как помнится, несколько курчавые, с небольшой проседью; улыбка обворожительная, профиль немного груб и резок, но резок барски и прекрасно… Ему было тогда с небольшим тридцать лет». (Константин Леонтьев. «Тургенев в Москве».)

Перед дамами парижского кружка Тургенев представал в разном настроении: он бывал то веселым, то грустным, то разговорчивым, то трагично-молчаливым. Случалось, он переодевался и смешил компанию. Эти перепады в настроении, актерство закончились тем, что охладили молодую Тучкову,

которая, повздыхав по нем, с презрением отвернулась. Тургенев же таким образом старался отвлечься от грусти, которая преследовала его. Он страдал оттого, что подолгу не видел Полину Виардо и не находил никого, кто мог бы ее заменить в его сердце.

Между тем Бакунин, который неожиданно приехал в Париж, и Герцен были взволнованы политическими событиями столицы. Чувствовалось начало революции. «Мир находится в родовых схватках, – напишет Тургенев Полине Виардо. – Многие заинтересованы в том, чтобы вызвать у него выкидыш. Посмотрим!» (Письмо от 5 (17) января 1848 года.) Он по привычке держался в стороне от политических страстей. Он знал о событиях из газет; одобрял «реформистов», которые организовывали банкеты, чтобы выразить протест Луи Филиппу, критиковал «фанатичное и контрреволюционное» внедрение Монталамбера в палату пэров, однако в отличие от Герцена и Бакунина не думал о всеобщем восстании, которое потрясет всю страну. Он уехал на несколько дней в Брюссель, когда был свергнут Луи Филипп. В 6 часов утра 26 января 1848 года дверь его номера в гостинице распахнулась и кто-то крикнул: «Франция стала республикой!» «Не веря ушам своим, я вскочил с кровати, выбежал из комнаты. По коридору мчался один из гарсонов гостиницы – и, поочередно раскрывая двери направо и налево, бросал в каждый нумер свое поразительное восклицание. Полчаса спустя я уже был одет, уложил свои вещи – и в тот же день несся по железной дороге в Париж…» (И.С. Тургенев. «Человек в серых очках». Воспоминания о 1848 годе.) Рельсы на границе были разобраны. Пассажиры доехали до Дуэ в повозке. Там они снова смогли сесть в вагон. Все волновались. Большинство присутствовавших с надеждой говорили о справедливом будущем. Лишь один старик вздыхал: «Все потеряно, все потеряно!»

В Париже Тургенев попал в сутолоку и волнение, охватившие улицы. Повсюду развевались трехцветные флаги. Временное правительство, казалось, не могло справиться с народными волнениями. Организовывались кружки. Разразился банковский кризис. Прошла мощная демонстрация рабочих против дня «Меховых шапок» (национальной гвардии). Бурная манифестация перед Учредительным собранием. В этом смятении ликовал только Бакунин. Он, наконец, оказался в своей атмосфере – буре угнетенных масс. Он поселился в казарме с вооруженными рабочими и прославлял кровавую революцию. Его неудержимость обеспокоила Тургенева, который осторожно отдалился от него. В апреле 1848 года Бакунин уехал в Германию готовить восстание

рабочих в Дрездене. Был арестован и снова оказался в тюрьме.

Из-за неорганизованности и разногласий развитие событий в Париже приостановилось. Чуждый идеологическим столкновениям, Тургенев иногда выбирался из города, чтобы погулять в окрестностях, мечтая о недосягаемой Полине. «Я провел более четырех часов в лесу – печальный, внимательный, растроганный, поглощенный и поглощающий. Странное впечатление природа производит на человека, когда он один… В этом впечатлении есть осадок горечи, свежей, как в благоухании полей, немного меланхолии, светлой, как в пении птиц. <<… >> Что до меня – я прикован к земле. Я предпочту созерцать торопливое движение утки, которая блестящею и влажной лапкой чешет себе затылок на краю лужи, или длинные сверкающие капли воды, которые медленно падают с морды неподвижно стоящей коровы, только что напившейся в пруду, куда она вошла по колено, – предпочту все это тому, что херувимы, „эти прославленные парящие лики“, могут увидеть на небесах». (Письмо от 19 апреля (1) мая 1848 года.) Это был буколический мир. В Париже же росло недовольство. Временное правительство было заменено Чрезвычайной комиссией. Национальные мастерские, учрежденные для забастовщиков, оказались непроизводительными и разорились. Учредительное собрание объявило об их ликвидации. Растерявшиеся толпы грозились взять в руки оружие. Было видно, что в братском противостоянии столкнутся силы правопорядка и отчаявшиеся рабочие. 15 мая 1848 года Тургенев присутствовал при разгоне демонстрации, организованной в защиту польской независимости. «Поразило меня то, с каким видом разносчики лимонада и сигар расхаживали в толпе, – помечал он, – алчные, довольные и равнодушные, они имели вид рыбаков, которые тащат хорошо наполненный невод». (Письмо к Полине Виардо от 3 (15) мая 1848 года.)

23 июня он отправился на улицы, где, по слухам, организовывалось сопротивление. У ворот Сен-Дени он увидел охраняемую рабочими в блузах баррикаду с развевавшимся красным знаменем. Он стоял на тротуаре и, как следователь, бесстрастно следил за происходящим, за тем, как приблизился выстроенный в плотные шеренги отряд и раздались первые выстрелы. Охваченный страхом, он убежал по улице Эшикье.

В течение нескольких дней он не выходил из раскаленной комнаты. Потел и волновался. Происходящее не касалось его. Какая удача быть русским. Время от времени он слышал глухие залпы. В мэрии расстреливали восставших. Революция была подавлена. Генерал Кавеньяк стал председателем Совета. «Что

очень удивило меня самого, это было сознание невозможности дать себе отчет в чувствах народа в подобную минуту, – писал Тургенев Полине Виардо, – честное слово, я был не в состоянии угадать, чего они хотели, чего боялись, были ли они революционерами, или реакционерами, или же просто друзьями порядка. Они как будто ожидали бури». (Там же.) Как бы он ни был беспристрастен, сила репрессий, массовые расправы, аресты возмущали его. «Реакция совсем опьянена своей победой и теперь явится во всем своем цинизме», – напишет он Полине Виардо. (Письмо от 8 (20) июня 1849 года.)

Попавший под подозрение властей за свои экстремистские взгляды, Герцен счел необходимым покинуть на несколько дней Париж. Тургеневу бояться было нечего: он был нейтрален. Из короткого революционного опыта он вынес один урок – страх перед беспорядками, ложью, напрасными жертвами, методичными убийствами. Человек миролюбивый, склонный к размышлениям, он мечтал об улучшении жизни народа, но без насилия. Больше чем когда-либо, после этого прикосновения к смятению, крови он почувствовал, что предназначен для размышления, любви и работы. Где укрыться от жестокости жизни? Единственное пристанище – Куртавнель!

Глава IV
Мать

В Куртавнеле в конце июня 1848 года Тургенев встретился наконец с Полиной Виардо. Вернувшись с триумфальных гастролей, она отдыхала в семье. После стольких писем, которыми он обменялся с ней, он не мог на нее насмотреться, на ее черные, как смоль, гладко зачесанные волосы, на лучистые глаза. А она была растрогана влюбленной настойчивостью этого русского колосса с волевыми чертами лица и мягким характером. Нет сомнения, во время этого пребывания в деревне она уступила, наконец, ему. Руководила ею не слепая страсть. Она вознаграждала так давнюю, преданную дружбу. Тургенев все понимал, но, потеряв голову, был рад милостивому приближению. Он дорожил каждым знаком ее внимания. Муж делал вид, что ничего не знает. Лишь дочь Полины Виардо – семилетняя Луиза – грустила, замечая нежность матери к этому постороннему человеку. Прошли несколько совершенно блаженных недель рядом с женщиной, которая после стольких лет согласилась тайно, время от времени принадлежать ему. Когда он оставил ее, отправившись в путешествие на юг Франции, тон писем его совершенно изменился. Раньше он писал с почтительным обожанием, а теперь смел открыто говорить о своей любви: «Добрый день, самая любимая, лучшая, дорогая женщина, добрый день – единственное существо… Милый ангел! Единственная, самая любимая, да благословит вас Бог 1000 раз. Самые горячие приветы милому существу». (Письмо на немецком языке от 1 (13) октября 1848 года.) Ее образ был рядом с ним во время всей поездки, которая пролегала через Лион и Валенсию, Авиньон, Ним Арль, Марсель, Тулон, Йеру.

Тургенев был счастлив, открывая Францию, а мать умоляла его вернуться в Россию. 14 марта 1848 года император Николай I, обеспокоенный возможным резонансом, который могли иметь в Европе политические парижские события, обнародовал манифест, «призывавший честных граждан бороться с революцией». Это был приказ для всех русских, которые жили в мятежной стране, вернуться на родину. Тургенев настаивал на своем желании жить за границей. Неслыханно! Разгневанная Варвара Петровна, державшая сына на голодном пайке, прекратила посылать ему содержание. По возвращении в Париж в начале ноября он оказался без средств и вынужден был просить аванс у Краевского – редактора «Отечественных записок» – в обмен на обещание

постоянно сотрудничать в этом журнале. В то же время он продолжает писать для «Современника». Повести, поэмы, комедии – его столь разные произведения – уже достаточно высоко ценились на далекой Родине, куда он не желал возвращаться. «Петушков» – новое повествование о роковой власти любви над жизнью человека, привязанного к недоступной женщине. Опыт скромного поклонника Полины Виардо навеял, вне всякого сомнения, эти строки. Многочисленные рассказы – «Хорь и Калиныч», «Бежин луг», «Свидание», «Касьян с Красивой Мечи», «Уездный лекарь», «Бирюк», «Лебедянь», «Малиновая вода» – были воспоминаниями об охотничьих путешествиях в России. В них – простые, реальные люди: грубые мужики и робкие дети, жестокие господа и злые управляющие. Простой деревенский люд. На фоне спокойной, величественной природы – тщетность, суетность человеческой жизни. Рядом с прекрасными, равнодушными полями, лесами, небом – беззащитный человек. Из этого неожиданного противопоставления рождалось радостное чувство сострадания к слабым, живущим на земле людям. Крестьяне в рассказах – не безответная толпа, а сложные существа, знающие жизнь природы, страдающие от жестокости господ. Автор заставлял, таким образом, не сгущая красок, думать об ужасах крепостного права. Он не рассуждал, не обвинял, но лишь точно и спокойно описывал действительность. Он призывал правду на помощь правосудию. Цензоры, оценив реалистичность этих пасторалей, потребовали сделать поправки и допустили рассказы к печати. Каждый – завершенная картина, детали которой служили созданию целостного впечатления. Совершенное мастерство автора усиливало печаль, ставшую сутью этих откровенных и жестоких историй. Читатели требовали новых рассказов. И Тургенев проводил долгие часы за письменным столом. Он нанял квартиру на улице Тронше в доме № 1. Весной следующего года в Париже разразилась холера. Однажды ночью у Тургенева открылась рвота. Он решил, что заразился. Живший в том же доме Герцен помог ему перебраться к себе и ухаживал за ним, несмотря на опасность заражения. Это самопожертвование было тем более трогательно, что после событий 1848 года его дружеские чувства к Тургеневу охладели. Впрочем, больной беспокоился напрасно. Он довольно скоро поправился и поспешил из зараженного города в который раз в Куртавнель.

К несчастью, он не застал там Полины Виардо, которая уехала в Лондон, и должен был довольствоваться компанией дядюшки Сичеса и его жены. Его время было занято работой, прогулками с собакой Султаном, рыбалкой и игрой в бильярд. Семья Сичес вернулась в Париж, и Тургенев в огромном

молчаливом доме почувствовал всю тяжесть одиночества. Впрочем, его скрасила неожиданная встреча с Гуно, который приехал в Куртавнель работать над оперой «Сафо». «Он целый день прогуливался в лесу Бландюро в поисках музыкальной идеи, – написал Тургенев Полине Виардо, – но вдохновение, капризное, как женщина, не пришло, и он ничего не нашел. Завтра, возможно, он возьмет реванш». (Письмо от 4 (16) мая 1850 года.)

После отъезда Гуно его единственными собеседниками стали садовник и старая служанка, кухарка Вероника. Он старался задерживаться во дворе, играл с Султаном, кормил кроликов, следил за очисткой кюветов и по ночам мучился от бессонницы. А однажды за пасьянсом в гостиной он вдруг услышал рядом с собой два глубоких вздоха. «Это вызвало во мне легкую дрожь, – писал он Полине Виардо, – проходя по коридору, я подумал о том, что бы я сделал, если б почувствовал, как чья-то рука внезапно схватила меня за руку; и я должен был себе признаться, что испустил бы пронзительный крик. Положительно, ночью бываешь менее храбрым, чем днем. Я желал бы знать, боятся ли слепые привидений».

В другой раз, выйдя во двор, он со страхом и волнением услышал тайный ропот ночи:

> «Шум крови в ушах и свое дыхание.
> Шорох, неустанный шепот листьев.
> Стрекот кузнечиков; их было четыре в деревьях и на дворе;
> Рыбы производили на поверхности воды легкий шум, который походил на звук поцелуя.
> Время от времени с тихим серебристым звуком падала капля.
> Ломалась какая-то ветка; кто сломал ее?»

(Письмо от 23 июля 1849 года.)

И над всем этим темная бездна неба с мириадами звезд.

«Тысячи миров, в изобилии разбросанных по самым отдаленным глубинам пространства, суть не что иное, как бесконечное распространение жизни, той жизни, которая находится везде, проникает всюду, заставляет целый мир растений и насекомых без цели и без надобности зарождаться в каждой капле воды». (Письмо к Полине Виардо от 16 (28) июля 1849 года.)

Созерцая ночную природу, он испытывал чувство восторга

перед красотой неба и в то же время страх перед сверхъестественными силами, управляющими Вселенной. Сон его часто бывал беспокойным: в кошмарах в ужасном виде являлась Полина Виардо. Иногда ему снилось, что он – птица[10]: «Я хочу высморкаться и нахожу посредине моего лица большой птичий клюв. <<…>> Я поднялся против ветра, испустив громкий победный крик, а затем ринулся вниз к морю, порывистыми движениями рассекая воздух, как это делают чайки. В эту минуту я был птицей, уверяю вас, и сейчас, когда я пишу вам, я помню эти ощущения птицы не хуже, чем вчерашний обед. <<…>> Вы станете смеяться надо мною и будете правы». (Письмо к Полине Виардо от 30 июля (11) августа 1849 года.)

Полина Виардо настолько занимала его мысли, что временами ему начинало казаться, что своим настойчивым присутствием в Куртавнеле он раздражает ее мужа: «Что с Виардо? – писал он Полине. – Быть может, ему неприятно, что я здесь живу?» Он даже осмеливался называть ее на «ты» по-немецки: «Любимая, Бог да будет с тобою и да благословит тебя!» (Письмо от 11 (23) июля 1849 года.) Время от времени он уезжал в Париж единственно для того, чтобы прочитать английские газеты, в которых речь шла о ней. Хотелось бы бывать там чаще, однако не было денег. В Куртавнеле он жил на средства Виардо и, конечно, чувствовал себя неловко. Впрочем, помощь друзьям в беде – обычное дело для русских. Кроме того, он был уверен, что со временем сможет возместить убытки хозяев полностью. «Кстати! Вы, может быть, удивитесь тому, что я мог съездить в Париж, ввиду состояния моего кошелька, – писал он Полине Виардо, – но дело в том, что г-жа Сичес, уезжая, оставила мне 30 франков, из которых 26 уже ушло. Впрочем, я живу здесь, как в волшебном замке; меня кормят, меня обстирывают; чего еще нужно одинокому человеку? Надеюсь, что этот денежный голод скоро прекратится и что в конце концов там скажут себе: однако! да на что же он существует?» (Письмо от 17 (29) июля 1849 года.)

Однако Варвара Петровна продолжала молчать. Тогда Тургенев попросил у Краевского аванс в 1000 рублей, взяв на себя обязательство писать для него новые произведения. Верный своему обещанию, он в начале 1850 года отправил в «Отечественные записки» «Дневник лишнего человека»; Некрасов получил для «Современника» комедию «Студент», известную как «Месяц в деревне». Но, увы, полученные деньги быстро разошлись. У него было столько долгов! Тургенев вновь обратился к Краевскому, получив от него в этот раз лишь двести рублей. Он был вне себя оттого, что просил, чтобы обеспечить жизнь, в то время как мать в России владела тысячами

крепостных. Может быть, и в самом деле нет другого выхода, кроме возвращения на родину? Нет, нет и еще раз нет! «Россия, – писал он Полине Виардо, – эта мрачная громада, неподвижная и окутанная облаками, словно Эдипов Сфинкс, – подождет. Она меня проглотит позднее. Мне кажется, что я вижу ее неподвижный взгляд, остановившийся на мне с угрюмой пристальностью, подобающей каменным очам. Будь спокоен, сфинкс, я к тебе еще вернусь, и ты сможешь пожрать меня в свое удовольствие, если я не разгадаю твоей загадки. Оставь меня еще ненадолго в покое! Я возвращусь в твои степи». (Письмо от 4 (16) мая 1850 года.)

Такая крепкая, здоровая, Варвара Петровна неожиданно тяжело заболела. Она потребовала, чтобы сын вернулся домой и выслала ему 6000 рублей на уплату долгов и расходы в дороге.

Вдруг он понял свой моральный долг – нужно ехать. Прощаясь с Полиной Виардо, он был в отчаянии. Она же без особенного сожаления наблюдала за его отъездом. Конечно, она была признательна ему за любовь. Однако смотрела на него как на большого, капризного, мечтательного ребенка, который ни в чем не мог изменить течения ее жизни. Луи Виардо равно мало беспокоился, замечая легкие нарушения супружеской верности. Он искренне привязался к этому талантливому нахлебнику, который, вероятно, был любовником Полины. А она, одаренная драматическая актриса на сцене, ненавидела драмы в семье. Все должно быть просто, думала она, между людьми одной компании. В молчаливом согласии оба супруга избегали сцен. Приличия были соблюдены, следовательно, можно любить втроем.

Укладывая чемоданы, Тургенев писал Луи Виардо: «Я увожу с собой самые сердечные воспоминания о вас; я сумел оценить высоту и благородство вашего характера и, поверьте, буду снова чувствовать себя вполне счастливым только тогда, когда опять смогу вместе с вами бродить с ружьем в руках по милым равнинам Бри. << … >> Родина имеет свои права; но не там ли настоящая родина, где мы нашли больше всего любви, где ум и сердце чувствуют себя лучше всего? Нет на земле места, которое я любил бы так, как Куртавнель. << … >> Вы имеете во мне, дорогой Виардо, безгранично преданного друга». (Письмо от 12 (24) июня 1850 года.)

Поведение сыновей глубоко огорчало Варвару Петровну. Старший – Николай – ушел в отставку, увлекся простушкой, жил как попало; младший – Иван – проводил время за сочинением, путешествовал за границей, волочился за певичкой. Оба ускользнули от ее власти, в то время как она хотела бы держать в своих руках не только их самих, но и их жен, их детей.

Одержимая властолюбием, Варвара Петровна приказала повесить у входа в усадьбу табличку с надписью «Они вернутся».

Тургенев и его брат нашли мать в Москве. Варвара Петровна, которая к тому времени поправилась, казалось, была счастлива видеть своих сыновей. Они воспользовались этим, чтобы испросить у нее для себя постоянный доход, который позволил бы им достойно жить. Она как будто поняла их озабоченность и подарила каждому по имению. Однако оформить дарственную не пожелала и, более того, спешно через управляющих продала весь урожай и запасы, которые хранились в деревенских ригах, так что ничего не осталось для будущей посевной. Братья отказались от подарка, который мать в любую минуту могла забрать у них. Возмущенный Тургенев кричал: «Да кого ты не мучаешь? Всех! Кто возле тебя свободно дышит? <<…>> Ты можешь понять, что мы не дети, что для нас твой поступок оскорбителен. Ты боишься нам дать что-нибудь, ты этим боишься утратить свою власть над нами. Мы были тебе всегда почтительными сыновьями, а у тебя в нас веры нет, да и ни в кого и ни во что в тебе веры нет. Ты только веришь в свою власть. А что она тебе дала? Право мучить всех». (В.Н. Житова. Из «Воспоминаний о семье Тургенева».) Задыхаясь от волнения и возмущения, Варвара Петровна стонала: «Да что я за злодейка такая!» – «Ты не злодейка, – ответил ей Тургенев, – я сам не знаю, ни что ты, ни что у тебя творится. <<…>> Да кто возле тебя счастлив? <<…>> Тебя все страшатся, а между тем тебя бы могли любить». Побелев от злости, Варвара Петровна изрекла глухо: «Нет у меня детей! Ступай!» И вышла из комнаты. На следующий день Иван попытался увидеть мать. Она отказалась принять его и, схватив его портрет, разбила об пол. Слуга хотел собрать осколки, однако она приказала не трогать их. Они будут лежать на полу четыре месяца.

Иван и Николай, изгнанные матерью, уехали в маленькое имение Тургенево, которое досталось им от отца. Разгневанная Варвара Петровна вернулась в Спасское. От сыновей ее отделяли всего 18 верст, однако она решила забыть об их существовании, заказала им не являться на порог дома и на письма их не отвечала. Время от времени Иван приходил в Спасское справиться о делах. Юная Варя (Житова) – незаконная дочь Варвары Петровны – вспоминала, как он появлялся в охотничьем костюме, высоких сапогах, с ружьем наперевес и патронташем на поясе, ягдташем через плечо, взволнованный, робкий, виноватый, уставший от долгой дороги. Она рассказывала ему в нескольких словах о настроении матери, и он уходил, опустив голову.

В это время у него был еще один повод для беспокойства –

дочь Пелагея (теперь ее звали Полина, Полинетта). Уезжая за границу, Тургенев доверил ее Варваре Петровне, которая обращалась с ней грубо, как с прислугой. Мог ли он остаться равнодушным к этому восьмилетнему ребенку, который напоминал ему о грехе его молодости? Она была похожа на него как две капли воды. В деревне люди насмехались над ней, называя то «барышня», то «байстрючка». Расстроенный Тургенев призвал на помощь своего ангела-хранителя Полину Виардо, которая согласилась, не раздумывая, взять девочку в свою семью и воспитывать ее. «Относительно маленькой Полины, вы уже знаете, что я решил следовать вашим *приказаниям* и думаю лишь о средствах исполнить это быстро и хорошо. <<…>> Из Москвы и Петербурга я изо дня в день буду писать вам, что буду делать для нее. Это долг, который я исполняю, и я счастлив исполнить его, раз вы этим интересуетесь. Si Dios quiere[11] она будет скоро в Париже». (Письмо от 28 августа 1850 года.) Несколько дней спустя он счел необходимым рассказать своей корреспондентке о происхождении ребенка: «Я расскажу вам в двух словах о моей *истории* с матерью девочки. Я был молод… Это было девять лет назад – я скучал в деревне и обратил внимание на довольно хорошенькую швею, нанятую моей матерью – я ей шепнул два слова – она пришла ко мне – я дал ей денег – а затем уехал – вот и все. <<…>> Впоследствии эта женщина жила, как могла, – остальное вы знаете. Все, что я могу сделать для нее – улучшить ее материальное положение – это мой долг, и я буду исполнять его, но даже увидеться с ней для меня было бы невозможно. Вы – ангел во всем, что говорите и думаете – но – повторяю: я могу только избавить ее от нужды. И я буду это делать. Что касается девочки, то надо, чтобы она совершенно забыла свою мать». (Письмо к Полине Виардо от 18 (30) сентября 1850 года.)

Обрадовавшись согласию Полины Виардо, Тургенев увез дочь в Петербург, а оттуда 23 октября 1850 года отправил ее с надежным сопровождающим в Париж. Эта русская крестьянская девочка, думал он, станет со временем француженкой. Сам в ближайшее время ехать во Францию не собирался. Он не мог думать о длительной поездке, ибо было слишком много дел в России. Тургенев уступил нуждавшемуся в средствах брату Николаю свою часть имения в селе Тургеневе. Он все еще надеялся, что в матери со временем проснутся лучшие чувства: она согласится помочь сыновьям, выделив им часть дохода от своих имений. Однако Варвара Петровна не собиралась уступать. Из-за обострившейся болезни (она страдала водянкой) ее перевезли в Москву, где она уже не вставала с постели. Чувствуя

близкий конец, Варвара Петровна спрашивала себя – той ли дорогой она шла в жизни? И однажды вечером, терзаясь угрызениями совести, написала на листке бумаги по-французски: «Mes enfants! Pardonnez – moi – Et vous Seigneur, pardonnez – moi aussi, car l'orgueuil, ce péché»[12]. Николай застал мать живой. Она благословила его дрожащей рукой и позвала второго сына. Но Иван был в Петербурге. Когда он, получив, наконец, извещение, приехал в Москву, мать умерла[13].

К печали, вызванной смертью матери, примешивалось устойчивое чувство негодования против прошлого этого феодального, тщеславного, упрямого и жестокого создания. «Мать моя умерла, не оставив никаких распоряжений, – писал Тургенев Полине Виардо некоторое время спустя после похорон, – множество существ, зависящих от нее, остались, можно сказать, на улице; мы должны сделать то, что она должна была бы сделать. Ее последние дни были очень печальны. Избави Бог нас всех от подобной смерти! Она старалась только оглушить себя – накануне смерти, когда уже началось предсмертное хрипение, в соседней комнате, по ее распоряжению, оркестр играл польки. О мертвых – или хорошо, или ничего – поэтому не скажу вам больше ничего. Все же – так как я не могу не делиться с вами всем, что чувствую и что знаю, – прибавлю лишь еще одно слово: мать моя в последние свои минуты думала только о том, как бы – стыдно сказать – разорить нас – меня и брата, так что последнее письмо, написанное ею своему управляющему, содержало ясный и точный приказ продать все за бесценок, поджечь все, если бы это было нужно, чтобы ничего не —. Но делать нечего – надо все забыть – и я сделаю это от души теперь, когда вы, мой исповедник, знаете все. А между тем – я это чувствую – ей было бы так легко заставить нас любить ее и сожалеть о ней! Да, сохрани нас Боже от подобной смерти!» (Письмо от 24 ноября (6) декабря 1850 года.) В том же письме он радуется приезду Полинетты во Францию и хорошим новостям, которые сообщила Полина Виардо: «Я надеюсь, что эта большая перемена в жизни спасет ее. Пожалуйста, поцелуйте ее от меня. Теперь, когда я стал богаче, я не боюсь дойти до тысячи франков в год: пусть она учится играть на рояле. Вышлю вам денег дней через десять. Я очень счастлив, когда думаю, что вы нашли в ней сходство со мной и что это сходство доставило вам удовольствие. Набросайте карандашом и пришлите мне маленький ее портрет. Еще раз повторяю вам, что в конце концов я совершенно привяжусь к ней, если только буду знать, что вы ее любите…»

Некоторое время спустя, разбирая бумаги матери, Тургенев нашел что-то вроде личного дневника, написанного карандашом.

«Какая женщина, мой друг, – писал он Полине Виардо. – Какая женщина! Я не сомкнул всю ночь глаз. Да простит ей Бог все… но какая жизнь… Право, я все еще не могу прийти в себя. Да, да, мы должны быть правдивы и добры, хотя бы для того, чтобы не умереть так, как она…»[14] (Письмо от 8 (20) декабря 1850 года.)

Братья без особых осложнений разделили унаследованные земли. Тургенев получил Спасское. Он, наконец, стал богат благодаря матери, воспоминания о которой вызывали чувство негодования. Заделавшись помещиком, он позволил нескольким крестьянам откупиться, однако полного освобождения не провел. Он осуждал крепостное право и в то же время считал, что мужики, предоставленные самим себе, без земли, без средств к существованию будут менее защищены, чем под его снисходительным покровительством. Впрочем, эта мера, исключительная в то время, противоречила его характеру. Человек мечтательный, он боялся действовать. Всякое серьезное решение пугало его, как открывающаяся взору бездна.

Получив наследство, он жил теперь в Москве, в Петербурге, давал обеды, посещал салоны и радовался успехам своих первых рассказов. Его комедии имели равно успех у публики. Перед премьерой «Провинциалки» он очень волновался: «Когда поднимали занавес, я очень тихо произнес ваше имя, – писал он Полине Виардо, – и оно принесло мне счастье». В конце спектакля раздался гром аплодисментов. «Я был готов ко всему, но только не к такому успеху! – писал он ей же. – Вообразите себе, что меня вызывали с такими неистовыми криками, что я убежал совершенно потрясенный, словно тысячи чертей гнались за мной. < <…> > Я очень жалею, что удрал, так как могли подумать, что я притворяюсь». (Письмо от 17 (29) января 1851 года.)

Одновременно с театральными успехами Тургенев дорабатывает свои деревенские рассказы. Он мечтает издать их отдельной книгой под названием «Записки охотника». Однако позволит ли цензура, разрешившая когда-то публикацию разрозненных рассказов, издание их отдельной книгой, которая представит Россию в мрачном свете? Для того чтобы продвинуть дело, Тургенев обращается к некоему Кетчеру, переводчику Шекспира, закадычному другу Белинского, Станкевича и Герцена. Он мечтает посвятить книгу Полине Виардо. «Вы еще не ответили на мою просьбу относительно посвящения; надеюсь, что вы не захотите отказать мне в этом счастье, тем более что для публики будут стоять только три звездочки». (Письмо от 1 (13) ноября 1850 года.)

Весной 1851 года, вздыхая по Полине Виардо, он влюбился в красивую крепостную горничную своих братьев Тургеневых –

Феоктисту Петровну Волкову, которую выкупил очень дорого, дал свободу и сделал своей любовницей. Эта продиктованная лишь физической необходимостью связь оставляла незанятым его ум, позволяла мечтать о другой, божественной, о той, кому он восторженно писал: «Я бесконечно целую вам ноги. Тысяча благодарностей за милые ноги». (Там же.)

К постановке на сцене готовилась его следующая пьеса – «Где тонко, там и рвется». 20 октября актер Щепкин представил его Гоголю, автору «Мертвых душ», творчеством которого Тургенев восхищался. Писатель встретил их, стоя за конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет, коричневые панталоны. Гоголь выглядел усталым и постаревшим. «Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье, – напишет Тургенев, – невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами; в их неопределенных очертаниях выражались – так по крайней мере мне показалось – темные стороны его характера: когда он говорил, они непонятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. << … >> „Какое ты умное, и странное, и больное существо!“ – невольно думалось, глядя на него». (И.С. Тургенев. «Гоголь». Воспоминания.) Неразговорчивый обычно Гоголь на этот раз был расположен к общению. Он говорил об искусстве, литературе, восхищался рассказами гостя. Тургенев сидел рядом на диване и слушал с благоговением. Однако, когда Гоголь заговорил о необходимости цензурного надзора, он поспешил сменить тему разговора. Гениальный автор «Ревизора» и «Мертвых душ» неожиданно предстал в образе реакционного упрямого газетного писаки, каковым он стал в последнее время под давлением своего окружения. Некоторое время спустя Тургенев увидел его во время публичного чтения «Ревизора». 24 февраля 1852 года на утреннем заседании общества посещения бедных он узнал от Панаева о смерти писателя. Потрясенный известием, он написал Полине Виардо во время заседания: «Нас постигло великое несчастье: Гоголь умер в Москве, умер, предав все сожжению, все – 2-й том „Мертвых душ“, множество оконченных и начатых вещей, – одним словом, все! Вам трудно оценить всю огромность этой столь жестокой, столь невосполнимой утраты. Нет русского, сердце которого не обливалось бы кровью в эту минуту. Для нас он был не просто писатель: он нам открыл нас самих». (Письмо от 21 февраля (4) марта 1852 года.) А два дня спустя делился своими переживаниями с публицистом Феоктистовым: «Кажется, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над моей головой

– и я иду на дно, застывая и немея». (Письмо от 26 февраля (9) марта 1852 года.)

Потрясенный событием, Тургенев написал некролог: «Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти слова?.. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить… Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся как одной из слав наших!»

В статье не было ничего крамольного, однако у полиции Николая I любой шум вокруг имени Гоголя вызывал подозрение. В Петербурге цензор запретил публикацию панегирика. Тургенев переслал рукопись в Москву. Более снисходительный московский цензор дал разрешение. Статья появилась 13 марта 1852 года в газете «Московские ведомости» за подписью «Т…в». Некоторое время спустя Тургенев был арестован «за неповиновение и нарушение цензурных правил» и заключен в тюрьму Адмиралтейства. Он провел там в очень сносных условиях целый месяц. В хорошей комнате, с хорошей едой, книгами, к нему приходили друзья. Чтобы развлечься, он изучал польский язык и писал повесть «Муму». Это произведение было навеяно давно ушедшими в прошлое событиями, которые произошли в Спасском во времена жестокого правления Варвары Петровны. С пером в руках писатель в который раз сводил счеты с матерью, властный характер которой отравил его юность. Даже после ее смерти этот слабый, но не смирившийся человек продолжал судить ее преступления. В сознании Тургенева эта очень простая история была протестом против крепостного права. Однако славянофил Аксаков увидел в ней нечто другое: «Это олицетворение русского народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаления к себе и в себя, его молчания на все запросы, его нравственных и честных побуждений». (Письмо И.С. Аксакова к И.С. Тургеневу от 4 октября 1852 года.)

Наконец, 16 мая 1852 года Тургенев вышел из тюрьмы, однако в дополнение к наказанию приказано было выслать его в Спасское под надзор местной полиции. «Мой арест, вероятно, сделает невозможным печатание моей книги в Москве», – писал он Полине Виардо. (Письмо от 1 мая 1852 года.) «Запискам охотника» тем временем, вопреки всем ожиданиям, было дано цензурное разрешение. Книга вышла в начале августа 1852 года. Между тем рапорт цензора Волкова предупреждал об опасности подобных публикаций: «Не думаю, чтоб все это могло принести какую-нибудь пользу или хотя бы удовольствие благомыслящему

читателю; напротив, все подобные рассказы оставляют по себе какое-то неприятное чувство». Николай I приказал отправить в отставку московского цензора Львова, который дал разрешение на издание книги, представляющей помещиков в неблаговидном свете. «Записки охотника» тем временем дошли до читателей. Их успех был так велик, что первое издание разошлось в несколько месяцев. Все известные писатели оценили по достоинству талант автора. Письменный стол Тургенева завалили восторженные письма. Он был счастлив, хотя внешне старался быть сдержанным. «Я рад, что эта книга вышла, – писал он Анненкову, – мне кажется, что она останется моей *лептой, внесенной в сокровищницу* русской литературы, говоря слогом школьных книг. Я сам перечел „Записки“ на днях: многое вышло бледно, отрывчато, многое только что намекнуто, иное неверно, пересолено или недоварено – зато иные звуки точно верны и не фальшивы – и эти-то звуки спасут всю книгу. Но до полноты созданья все это еще далеко, и стоит прочесть какого-нибудь мастера, у которого кисть свободно и быстро ходила в руке, чтобы понять, какой наш брат маленький человечек. Я эти дни все читал Молиера – одна какая-нибудь… как напр. Пурсоньяк – своей силой, веселостью, свежестью и грацией – просто положила меня ничком. <<…>> Перо потом как-то из рук валится». (Письмо от 14 (26) сентября 1852 года.)

Однако он не думал оставлять перо. Напротив, хотелось идти к вершинам литературы. Жанр рассказа представлялся ему пройденным этапом. Что дальше? Может быть, роман? Почему бы нет? «Надобно пойти другой дорогой – надобно найти ее – и раскланяться навсегда с старой манерой. Довольно я старался извлекать из людских характеров разводные эссенции – triples extraits[15] – чтобы влить их потом в маленькие скляночки – нюхайте, мол, почтенные читатели, откупорьте и нюхайте – не правда ли, пахнет русским типом? Довольно-довольно! Но вот вопрос: способен ли я к чему-нибудь большому, спокойному! Дадутся ли мне простые, ясные линии. <<…>> Вы от меня услышите что-нибудь новое – или ничего не услышите». (Письмо к Анненкову от 28 октября (9 ноября) 1852 года.) Анненков отвечал ему: «Я решительно жду от Вас романа, с полною властью над всеми лицами и над событиями и без наслаждения самим собой, без внезапного появления оригиналов, которых Вы чересчур любите». (Письмо от 1 октября 1852 года.)

Тургенев, изгнанный в Спасское, спрашивал себя: разве не сам император, обрекший его на деревенское одиночество, предоставил ему возможность создать вдали от городского шума значительное произведение, которого ждет от него Россия.

Глава V
В изгнании

Большой дом в Спасском Тургенев отдал в распоряжение своих друзей Тютчевых. Николай Тютчев исполнял обязанности управляющего имением. А сам поселился во флигеле. Его ссылка была мирной и уединенной. Он часами гулял, читал с восторгом «Детство» Льва Толстого, писал повести, играл с Тютчевым в шахматы, слушал госпожу Тютчеву, которая исполняла на фортепиано его любимые произведения, и время от времени принимал исправника местной полиции, который обязан был присматривать за ним. Тот не отваживался пойти дальше прихожей, получал, почтительно кланяясь, десятирублевую ассигнацию и удалялся, пожелав «ссыльному» счастливого пребывания в деревне. Главным занятием хозяина усадьбы была охота. Он исходил с ружьем в руках окрестности и с точностью отчитывался о своих охотничьих подвигах: «Я убил в теченье нынешнего года 304 штуки, – писал он Аксакову, – а именно – 69 вальдшнепов, 66 бекасов, 39 дупелей, 33 тетерева, 31 куропатку, 25 перепелов, 16 зайцев, 11 коростелей, 8 курочек, 4 утки, 1 гаршнепа, 1 кулика». (Письмо от 17 (29) октября 1852 года.)

Во время этих охотничьих путешествий он бывал в деревнях, завязывал беседу с крестьянами, учился лучше понимать их и, жалуясь на одиночество, восхищался сменой времен года в деревне. По возвращении домой, встречался со своей юной любовницей, темноволосой и пылкой Феоктистой, улыбчивой и добродушной. Ее податливость, однако, в конце концов показалась ему скучной. Полина Виардо привила ему вкус к трудностям в любви. В глубине души ему нравилось испытывать муки, подчиняясь женщине с сильным характером. С самых ранних лет мать приучила его к такого рода страданию.

Зимой осознание своей изолированности стало невыносимым. Утонувшее в снегу Спасское, казалось, находилось в тысяче верст от цивилизованного мира, салонного шепота, городских огней. «Что же остается мне? – писал он Полине Виардо. – Кажется, я вам говорил это не раз: работа и воспоминания. Но для того чтобы работа была легка, а воспоминания менее горьки, мне нужны ваши письма, с отголосками счастливой и деятельной жизни, с запахом солнца и поэзии, который они до меня доносят. <<…>> Я чувствую, как жизнь моя уходит капля за каплей, словно вода из полузакрытого крана; я не сожалею о ней; пусть уходит… что мне с ней делать?

Никому не дано вернуться на следы прошлого, но я люблю вспоминать о нем, об этом прелестном и неуловимом прошлом, в такой вечер, как сегодня, когда, слушая унылое завывание вьюги над снежными сугробами, я представляю себе… Нет, не хочу наводить тоску ни на себя, ни – отраженно – на вас… Все, что со мной происходит, еще очень сносно, нужно напрячься под бременем, чтобы меньше его ощущать». (Письмо от 13 (25) октября 1852 года.)

Чтобы забыться, он писал повести «Постоялый двор», «Два приятеля» и работал над романом «Два поколения», «все стихии которого, – говорил он Аксакову, – давно бродят во мне». Для этого романа он в который раз счел необходимым использовать автобиографические детали. Его главный персонаж – женщина властная и неуживчивая – очередное воплощение Варвары Петровны. Герой – человек капризный, сложный, непостоянный, который влюбился из праздности в молодую лектрису матери, – имел много общих черт с автором. Однако главы плохо связывались друг с другом, отступления утяжеляли текст, и Тургенев был вынужден признать, что на длинной дистанции он чувствовал себя менее уверенно, чем в коротких зарисовках – «Записках охотника».

Развлечения в Спасском были редкими, он устроил по случаю Рождества и Нового года маскарады. Слуги колядовали, а рабочие с соседней бумажной фабрики сыграли «разбойничью драму» так неумело и искренне, что Тургенев от души смеялся. Когда ему доведется вновь увидеть настоящую пьесу, на настоящей сцене, сыгранную настоящими актерами? Неожиданно в пустынное Спасское прилетела ошеломляющая новость: Полина Виардо ехала в Россию на концерты.

На этот раз Тургенев потерял голову. Во что бы то ни стало он должен настичь своего кумира. Не считаясь с полицией, он запасся подложным паспортом и 20 марта 1853 года приехал, окрыленный надеждой, в Москву. Он пробыл там около десяти дней и тайно встретился с певицей. Их редкие свидания, очень сдержанные, разочаровали его. Вне всякого сомнения, Полина Виардо охладела к нему. Время и расстояние превратили любовь в учтивую дружбу. По возвращении в Спасское он получил от нее два письма, кратких и банальных, которые отрезвили его, как ледяной душ. «Особенно второе», – уточнял он, каждое слово которого казалось ему «последним». (Письмо от 17 (29) апреля 1853 года.) Однако менее чем через месяц он написал ей еще: «Не оставляйте вашего намерения приехать в будущем году в Россию с концертами. <<…>> Перед моими окнами тянется аллея больших берез, листья их еще слегка свернуты; они еще хранят

форму своих футляров, тех почек, в которых они были заключены несколько дней тому назад; это им придает праздничный вид совершенно новых платьев, на которых заметны еще все складки материи. Весь мой сад наполнен соловьями, иволгами, кукушками, дроздами – прямо благодать! Если бы я только мог представить себе, что вы здесь когда-нибудь будете прогуливаться! В этом нет ничего невозможного… но это почти невероятно». (Письмо от 12 (24) мая 1853 года.) Несмотря на это последнее уверение в нежности, переписка между Тургеневым и Полиной Виардо в последующие месяцы угасала. Он не испытывал больше необходимости рассказывать ей о незначительных деталях своей жизни, кричать в пустоту о своей любви. Некоторое время спустя он стал равнодушным и к Феоктисте Волковой и расстался с ней, щедро наградив ее за верную службу.

На исходе осени, боясь перспективы провести новую зиму в Спасском, Тургенев отправил прошение генералу Дубельту, чтобы добиться разрешения приехать в Петербург: «Полтора года тому назад имел я несчастье навлечь на себя гнев его императорского величества и вследствие высочайшего повеления нахожусь с того времени жительством в деревне». В качестве обоснования для своей просьбы он ссылался на плохое здоровье и необходимость получения консультаций у компетентных врачей. 23 ноября он получил, наконец, от графа Орлова, жандармского генерала, управлявшего III отделением, известие о том, что отныне он получает право жить в столице. Как узник, опьяненный свободой, он приготовился оставить прекрасные места своего изгнания: «Мне весело, что я опять попал в общую колею», – писал он Анненкову. (Письмо от 25 ноября (7) декабря 1853 года.)

Чтобы отпраздновать его возвращение, друзья из редакции «Современника» устроили пышный банкет. За ним последовали другие. Вернувшись к городской жизни, высокий, солидный, изысканно одетый, седеющий Тургенев блистал во всех салонах и не скупился на деньги. Он жил теперь в прекрасно меблированной квартире, ему служили старый Захар и отличный повар Степан, которого он купил очень дорого. Гостеприимный хозяин, он принимал каждый вечер своих собратьев из «Современника» – Некрасова, Панаева, Григоровича, Анненкова, Дружинина, Полонского, Боткина. Развлекаясь, он писал с ними язвительные эпиграммы, которые облетали город.

С новой весной вспыхнула новая любовь. Он стал частым гостем в доме одного из своих двоюродных братьев – Александра Тургенева, восемнадцатилетняя дочь которого, Ольга, была мила, умна и трогательно застенчива. Покоренный ее свежестью,

Тургенев не мог скрыть своих чувств. Она, в свою очередь, была смущена знаками внимания этого зрелого мужчины с седеющими висками и томным взглядом. Он видел ее часто на даче ее родителей в Петергофе. Их разговоры были приятными и грустными. От встречи к встрече он все более серьезно думал о женитьбе. Однако мысль о соединении своей жизни с женщиной – даже красивой и умной – тревожила его. Он был создан для того, чтобы вздыхать по недосягаемой, а не для того, чтобы довольствоваться ежедневной супружеской похлебкой. О своих противоречивых чувствах Тургенев рассказал некоторым друзьям. Старый Аксаков даже раскинул карты, чтобы прояснить ему его будущее. И вдруг Тургенев решил отступить. В прощальном письме к Ольге он обвинил себя в безрассудстве: «Виноват я один. Я старше Вас, моя обязанность была думать за обоих; <<…>> я не должен был забывать, что Вы рисковали многим – я ничем. <<…>> Когда же я убедился, что чувство, которое во мне было, начало изменяться и слабеть – я и тут вел себя дурно. Несмотря на все, что произошло, я все-таки считаю мое знакомство с Вами одним из счастливых случаев моей жизни. Избегать частых встреч, близких сношений с Вами – теперь моя прямая обязанность. Нужно прекратить слухи и сплетни, повод к которым подало мое поведение». (Письмо от 6 (18) января 1855 года.)

Это отступничество глубоко ранило девушку. Что касается Тургенева, то он вспомнит о ней несколько лет спустя для того, чтобы начертать портрет Татьяны – невесты, оставленной героем романа «Дым». Сейчас же он был особенно счастлив тем, что положил конец идиллии – поэтической, конечно, – но продолжение которой рисковало привести его к алтарю.

Спустя некоторое время он увлекся женой одного из своих деревенских соседей – сестрой Льва Толстого – Марией[16]. «Мила, умна, проста – глаз бы не отвел. На старости лет (мне четвертого дня стукнуло 36 лет) – я едва ли не влюбился, – писал он Анненкову. – Не могу скрыть, что поражен в самое сердце. Я давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния… И прошу Вас хранить все это в тайне». (Письмо от 1 (13) ноября 1854 года.)

Его увлечение Марией Толстой оказалось равно платоническим. Однако верный своей привычке, он воспользуется молодой женщиной для того, чтобы создать образ Веры в своей повести из девяти писем «Фауст». Между тем он опубликовал другие произведения – «Затишье», «Переписка», «Поездка в Полесье»… Затем вдруг, набравшись смелости, принялся за роман. Речь не шла уже о романе «Два поколения», который он

оставил, его сердцем завладел новый сюжет – «Рудин». Первая версия была завершена за семь недель. Едва высохли чернила рукописи, Тургенев поспешил прочитать его своим постоянным литературным советникам – Некрасову, Боткину, Панаеву. Они одобрили роман в целом, однако посоветовали внести поправки, которые автор поторопился сделать. Он был счастлив, оттого что создал, наконец, настоящий роман с полной интригой и персонажами с четко выписанным характером.

Герой Дмитрий Рудин – красноречивый, искрометный – весь из слов и жестов, но не способный на искреннее чувство – еще один «лишний человек». Оказавшись в доме богатых помещиков, он своей статью и общительностью покоряет женщин, мужчины, между тем, ему завидуют и сторонятся его. Очень быстро дочь Наталья влюбляется в него и говорит о том, что готова на все ради того, чтобы выйти за него замуж. Однако, узнав о том, что мать Натальи против этого брака, Рудин, казавшийся таким уверенным в себе, как пустой человек, отступает. Его любовь не настолько для него сильна, чтобы заставить его принять решение. Сама мысль о выборе парализует его. Лишенный воли, он плывет по течению. Он пренебрегает искренними чувствами девушки и пишет ей прощальное письмо, которое очень напоминает письмо автора к Ольге Тургеневой: «Любезная Наталья Алексеевна, я решился уехать. Мне другого выхода нет». Из эпилога, написанного, кстати, несколько лет спустя, читатель узнает, что Рудин был убит на баррикадах в Париже 26 июня 1848 года. «Tiens, – сказал один из восставших, – on vient de tuer le Polonais»[17].

Друзья Тургенева узнали в Дмитрии Рудине многие черты Михаила Бакунина. Его внешность, прежде всего его шапку волос, его жесты, его привычку «похлопывать» друзей по плечу, его восторженность, его красноречие, которые не затрагивали его сути. После некоторых колебаний Тургенев, наконец, признал, что достаточно думал о Бакунине, создавая своего героя. Однако на самом деле он больше думал о себе. Это сочетание самоуверенности и внутренней скованности, это стремление нравиться дамам и страх быть увлеченным одной из них, эта внешняя оживленность, сочетавшаяся с большой осторожностью, – все это он наблюдал в своем собственном поведении. Создавая Рудина, он обличал свои собственные слабости. Он бичевал себя. И ему, мазохисту по своему характеру, не чуждо было это самоисправление. В Рудине текла его кровь, он поразительно походил на него. Очарованный поначалу этим представителем русской интеллигенции, читатель мало-помалу открывал его ничтожность, начинал презирать, а затем был

вынужден жалеть его. Закрыв книгу, он с удивлением думал о загадочности души. Кем был Рудин? Тургенев не судил его. Он, не комментируя, рассматривал все его грани. И этот метод был сам по себе достаточно оригинальным, чтобы заслужить восхищение знатоков. Все сознавали, что с романом «Рудин» в литературный мир пришло новое, современное направление. И, кроме того, он был написан изящным, безупречным музыкальным стилем. Чистым языком, который напоминал язык Пушкина. Но более красочным, более чувственным. Мягкая, нежная проза способна была верно передать все психологические или физические оттенки. Проза, которая открывала глаза, обостряла чувства, заставляла учащенно биться сердце. Проза, которая погружала вас в самую жизнь. Комментируя поведение Рудина – идеалиста, пустого мечтателя, Некрасов напишет, что Тургенев представил в своем романе «тип некоторых людей, состоявших еще недавно во главе умственного и жизненного движения, постепенно охватывавшего, благодаря их энтузиазму, все более и более значительный круг в лучшей и наиболее свежей части нашего общества». Он заключал: «Эти люди имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны». (Н.А. Некрасов. «Заметки о журналах», февраль 1856 года.)

Само собой разумеется, Тургенев прочитал свое произведение Марии Толстой, и она очень хвалила его. Он часто видел ее, радуясь этим встречам и беседам, и говорил с ней о ее брате Льве Толстом, молодом талантливом писателе, который находился в то время на фронте в чине офицера артиллерии. Крымская война разгорелась в марте 1854 года, однако военные действия развивались так далеко от столицы, что Тургенев не придавал им значения. Это, думал он, была абсурдная борьба, задуманная политиками и штабами, которая ничего не даст для будущего народов. Конечно, он переживал за бесполезные жертвы, сожалел о том, что Англия и Франция восстали против России, и мечтал, чтобы это массовое кровопролитие остановилось, что позволило бы ему вновь путешествовать по Европе. Однако он не отягощал свои письма патриотическими рассуждениями. Что возмущало его прежде всего, так это публикация в Париже «Записок охотника», переведенных на французский язык под названием «Воспоминания знатного русского барина, или Картина состояния дворянства и крестьянства в русской провинции». Представленные таким образом рассказы, говорил он, превращались в текст антирусской пропаганды. Он выступил в «Петербургской газете» с протестом против ложной

интерпретации, данной его книге французской критикой. Любивший Францию, он страдал от враждебности, которая проявлялась в отношении России с началом военных действий.

Смерть Николая I, последовавшая 18 февраля 1855 года, в самый трагический момент осады Севастополя, и восшествие на престол Александра II дали ему надежду на то, что мир будет вскоре подписан. Однако война – жесткая, кровавая – продолжалась. Обострились национальные чувства противников. Тургенев – враг всякого фанатизма – был одним из немногих равнодушных людей. После падения Севастополя 27 августа 1855 года изнуренная боями русская армия отступила на северный берег залива. Лев Толстой был в первых рядах сражавшихся. Тургенев высоко оценил его статьи о героическом сопротивлении осажденных. Он написал ему в поддержку письмо: «Ваша сестра, вероятно, писала Вам, какого я высокого мнения о Вашем таланте и как много от Вас ожидаю. <<…>> Жутко мне думать о том, где Вы находитесь. Хотя, с другой стороны, я и рад для Вас всем этим новым ощущениям и испытаниям, – но всему есть мера. <<…>> Вы достаточно доказали, что Вы не трус, – а военная карьера все-таки не Ваша. Ваше назначение – быть литератором, художником мысли и слова». (Письмо от 3 (15) октября 1855 года.) И пригласил своего молодого собрата приехать к нему во время отпуска.

21 ноября 1855 года Лев Толстой появился у него неожиданно. Он приехал с фронта. Был одет в мундир, у него было жесткое, загорелое лицо, гордый взгляд. Увлеченный читатель «Записок охотника», он торопился познакомиться с их автором. Когда он оказался перед этим человеком высокого роста, полным и мягкотелым, с серебряными волосами, ухоженными бакенбардами, большими слабыми руками и нежными женскими глазами, он испытал чувство счастья, как при встрече с отцом и другом. Тургенев предложил ему жить в его квартире. Он предложил ему диван. Он хвалил его. Он показал его своим друзьям из «Современника». Все с энтузиазмом встретили этого двадцатисемилетнего героя, гордого и робкого, который только что вернулся из ада и высокомерно игнорировал столичные литературные споры. Однако очень скоро грубые манеры Толстого охладили Тургенева. Они были разными во всем. Тургенев следил за собой, пользовался духами, любил тонкое белье, порядок, чистоту, шутки с дамами. Толстой одевался кое-как, пах табаком, никогда не занимался своими делами, презирал салонные разговоры, посещал цыганские кабаки и охотно играл роль солдафона. В спорах с друзьями Тургенев был снисходительным, внимательно выслушивал доводы противника

и мечтал об улучшении условий человеческого существования через мирное развитие нравов. Толстой противостоял общему мнению с пылом трибуна и видел спасение только в немедленном и полном разрушении европейской цивилизации. Тургенев был человеком оттенков, сомнений, компромиссов, колебаний. Толстой – человеком резких тонов, постоянных противоречий, человеком, желавшим всего или ничего. Тургенев считал себя художником. Толстой смотрел на себя уже как на пророка. Между мужчинами часто разгорались споры. Впрочем, Толстой больше не жил у Тургенева, однако поводов для встреч у общих друзей было множество. Они прилюдно придирались друг к другу по самым разным поводам. Горевшему от гнева Тургеневу Толстой отвечал холодным тоном: «Я не могу признать, чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: „Пока я жив, никто сюда не войдет“. Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрыть сущность ваших мыслей и называете это убеждением». – «Зачем же вы к нам ходите? Здесь не ваше знамя!» – «Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! – парировал Толстой. – И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения». (А. Фет. «Мои воспоминания».)

В другой раз после одной из подобных грубых и бессмысленных ссор к Толстому, полулежавшему на диване, подошел Некрасов и сказал ему примирительным тоном: «Голубчик Толстой, не волнуйтесь! Вы знаете, как он вас ценит и любит!» Опершись на локоть, с раздувающимися от злости ноздрями Толстой отвечал: «Я не позволю ему ничего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит назад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками». (Там же.) Несколько дней спустя во время обеда у Некрасова Толстой подтрунил над Тургеневым по поводу его восхищения Жорж Санд. Если послушать его, то героини французской романистки заслуживали того, чтобы их «привязывали к позорной колеснице и возили по петербургским улицам». Так как Тургенев возражал, то Толстой высмеял его перед всеми собравшимися. «С Толстым я едва ли не рассорился, – писал Тургенев Боткину, – невозможно, чтоб необразованность не отозвалась так или иначе. <<…>> Спор зашел очень далеко – словом – он возмутил всех и показал себя в весьма невыгодном свете». (Письмо от 8 (20) февраля 1856 года.) Толстой в свою очередь отмечал в дневнике конвульсии этой дружбы-вражды. «7 февраля 1856 года. Поссорился с Тургеневым». «10 февраля. Обедал у Тургенева, мы снова сходимся». «12 марта. С Тургеневым я, кажется, окончательно разошелся». «5 мая. Был обед у Тургенева, в котором я <<…>>

всем наговорил неприятного. Тургенев уехал. Мне грустно». А пять дней спустя писал своей родственнице Татьяне Ергольской: «Тургенев уехал, которого я чувствую теперь, что очень полюбил, несмотря на то, что мы все ссорились. Я без него ужасно скучаю».

Измученный Тургенев укрылся в Спасском, чтобы поработать там в тишине русской весны. Тем временем война закончилась подписанием парижского договора. Можно было вновь со спокойной совестью заняться литературой, можно также мечтать о путешествии за границу. Первым следствием прекращения военных действий было для Тургенева право вернуться наконец к Полине Виардо. Хотя он не видел ее несколько лет, хотя их переписка мало-помалу угасала, она единственная во всем мире была нужна ему. Он торопился вернуться к ней. Не для того, чтобы покорить. Он не желал победы. Но чтобы быть рядом. Чтобы служить ей. Чтобы покорно обожать ее. Добиваясь заграничного паспорта, он взвесил все, с чем собирался расстаться: с домом в Спасском, русской природой, друзьями в Санкт-Петербурге и Москве, с возможностью жениться и создать семью; но его притягивал мираж, который с каждым днем заявлял о себе все более властно. Он откровенно поверял это сложное чувство новому другу – графине Елизавете Ламберт, женщине образованной и набожной, муж которой был адъютантом императора. Она принимала его с глазу на глаз в комнате, уставленной иконами, заполненной книгами, и внимательно слушала его сердечные признания: «Ах, графиня, какая глупая вещь – потребность счастья – когда уже веры в счастье нет! – говорил он. – В мои годы уехать за границу – значит: определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышленья о семейной жизни. Что делать! Видно, такова моя судьба. Впрочем, и то сказать: люди без твердости в характере любят сочинять себе „судьбу“; это избавляет их от необходимости иметь собственную волю и от ответственности перед самим собою. Во всяком случае – le vin est tire – il faut le boire»[18]. Он добавлял: «Я не рассчитываю более на счастье для себя. <<… >> Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, больше ничего не делал, как гонялся за глупостями. Дон Кихот по крайней мере верил в красоту своей Дульцинеи, а нашего времени Дон Кихоты и видят, что их Дульцинея урод, а все бегут за нею». (Письмо от 10 (22) июня 1856 года.)

Странное признание накануне его путешествия во Францию: он все-таки сознавал, что его Дульцинея – Виардо не была красива, однако своим сиянием, своей уверенностью, своим темпераментом, своим талантом она затмевала всех женщин, которых он мог бы иметь вдали от нее, в России. Неисправимый

Дон Кихот, он отправлялся на ее поиски, почти уверенный в неуспехе. Быть несчастливым рядом с ней – более завидная, казалось ему, судьба, чем быть счастливым с другой. Может быть, он даже втайне желал восхитительной пытки – презрением, отказом, холодностью.

Благодаря помощи графа Ламберта он получил свой заграничный паспорт и отправился в дорогу. Покинув 11 июля 1856 года Спасское, он провел несколько дней рядом с Некрасовым в Ораниенбауме и 21 июля отплыл из Санкт-Петербурга в Щецин.

Глава VI
«На краюшке чужого гнезда»

Шесть лет прошли со времени последнего путешествия Тургенева за пределы России. Тогда он был только молодым, случайным литератором, робким и постоянно нуждавшимся, зависевшим во всем от воли матери. Теперь мать умерла, он унаследовал значительное состояние и был признан в своей стране писателем первой величины. Благодаря «Запискам охотника», последовавшим за ними повестям, наконец, «Рудину» он снискал восхищение широкой публики, и даже самые требовательные из критиков единодушно признали его значение. Разве не говорили, что сам император Александр II плакал, читая «Записки охотника»? Со стороны жизнь Тургенева казалась удачной, и тем не менее он с грустью и горечью смотрел на свое будущее.

Корабль, на котором он отправился в плавание, напомнил ему его первое путешествие по морю. Только на этот раз не было пожара на борту и можно было играть в карты и вист, не думая с угрызением совести о советах Варвары Петровны. Однако мысли его занимала другая игра. Отправляясь в этот раз за границу, он сознавал, что поставил все на одну карту – Полину Виардо. А в ней он совсем не был уверен.

Из Щецина он отправился в Берлин, из Берлина в Париж, из Парижа в Лондон, где встретил Герцена, который был изгнан из Франции за то, что сотрудничал в газете Прудона «Голос народа». Пламенный революционер с жадностью расспрашивал его о развитии сознания в России, и Тургенев старался рассказывать с беспристрастностью, обличая пороки режима, однако в то же время упоминал о либеральных надеждах, которые возлагались на нового императора. После чего благоговейно отправился по дороге, ведущей в Куртавнель. Вслед за ним туда приехали Полина Виардо и ее муж.

Встреча после долгой разлуки была трогательной и в то же время неловкой. Манящая издали, Полина – сутулая, с выпуклыми глазами и широким ртом – могла только разочаровать Тургенева, когда он увидел ее вновь. Но от нее исходили чары, которым он не умел противостоять. Очень быстро он оказался вновь в ее власти. И в течение нескольких недель был совершенно счастлив. Он охотился с ее мужем, а с ней, наверное, проводил ночи. Кроме того, чтобы развлечься, по вечерам музицировали, читали вслух, разыгрывали с гостями комедии.

«Как отлично мы проводили время в Куртавнеле! Каждый день казался подарком», – напишет Тургенев Боткину. (Письмо от 25 октября (6) ноября 1856 года.)

Однако он страдал оттого, что жизнь «на краешке чужого гнезда», по его собственному выражению, приносила ему неимоверные страдания. Навестившему его в этом «гнезде» Фету Тургенев растерянно признавался: «Я подчинен воле этой женщины. Она давно и навсегда заслонила от меня все остальное, и так мне и надо. <<…>> Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мое лицо носом в грязь». «Боже мой! – воскликнул он, заламывая руки над головою. – Какое счастье для женщины быть безобразной!» (А. Фет. «Мои воспоминания».) Больше всего он упрекал Полину Виардо за ее спокойствие, в то время как сам он переживал бурю. Она одинаково по-матерински относилась к нему и своему мужу. И, вне всякого сомнения, изменяла и одному и другому, когда уезжала на гастроли. На самом же деле она была настолько увлечена своим искусством, своей карьерой, что появление мужчины в жизни не нарушало ее покоя. Рядом с ней Тургенев иногда чувствовал себя веточкой алтея, повешенной на железный крючок.

Еще одна забота в это время волновала его: дочь Полинетта, которой исполнилось четырнадцать лет. Она совершенно забыла родной язык, не могла сказать «хлеб» и «вода» по-русски, щебетала на французском, как жительница Иль-де-Франса, и с легкостью читала стихи Мольера и Расина. Тургенев был счастлив. «Ей не для чего помнить язык страны, в которую она никогда не возвратится», – писал он Боткину. (Письмо от 18 (30) сентября 1856 года.) Однако сожалел о том, что девочка так плохо ладила со своей благодетельницей. Взаимоотношения между нею и Полиной Виардо становились все более напряженными, часто разгорались ссоры. Полинетта, вне всякого сомнения, догадывалась о том роде отношений, которые существовали между ее отцом и Полиной Виардо, старшая дочь которой – Луиза – не любила эту маленькую самозванку и давала почувствовать всю двусмысленность ее положения в семье.

Чтобы избежать дальнейшего накала отношений, Тургенев увез Полинетту в Париж. Сначала они поселились вместе на улице Риволи в доме № 206, затем на улице Аркад в доме № 11. Воспитание ребенка было поручено английской гувернантке. Он испытывал к Полинетте чувства нежности и сострадания, однако ему постоянно казалось, что он принуждал себя, занимаясь ею. В действительности роль отца совсем не подходила этому человеку, разрывавшемуся между литературой и любовью. Разочарованный

в Полине Виардо, он и в работе не находил удовлетворения. Своим друзьям он жаловался, что совершенно потерял вкус к сочинительству. Извечно недовольный, он мечтал о России, признавая, что более счастлив во Франции. «Что ни говори – а мне все-таки моя Русь дороже всего на свете – особенно за границей я это чувствую», – писал он Боткину. (Письмо от 25 октября (6) ноября 1856 года.) Он с нетерпением ждал известий от своих собратьев из Санкт-Петербурга и Москвы. На послание Толстого он ответил письмом, в котором попытался объяснить их напряженные отношения: «Вы единственный человек, с которым у меня произошли недоразуменья; это случилось именно оттого, что я не хотел ограничиться с Вами одними простыми дружелюбными сношениями – я хотел пойти далее и глубже <<…>> У нас мало точек соприкосновения; вся Ваша жизнь стремится в будущее, моя вся построена на прошедшем… Идти мне за Вами – невозможно; Вам за мною – также нельзя; Вы слишком от меня отдалены, да и кроме того, Вы слишком сами крепки на своих ногах, чтобы сделаться чьим-нибудь последователем. <<…>> Словом, друзьями в руссовском смысле мы едва когда-нибудь будем; но каждый из нас будет любить другого, радоваться его успехам». (Письмо от 13 (25) сентября 1856 года.)

Настроение Тургенева омрачала еще мучительная болезнь мочевого пузыря. Он консультировался у разных врачей, часто менял лекарства, пил постоянно хинин. Он принялся писать «Дворянское гнездо», но раздосадованный, сомневаясь в своих силах, забросил рукопись. Однако его последняя книга «Повести и рассказы» с огромным успехом вышла в Санкт-Петербурге, и он получил прекрасные отзывы о «Фаусте». Но все это было делом прошлого. Он спрашивал себя, сможет ли он при таком расстроенном здоровье и отсутствии вдохновения продолжить работу. Он думал об отце, рано умершем от каменной болезни. Не обречен ли он на подобные страдания? При малейшем недомогании он предполагал худшее. В Париже было очень холодно. Дома отапливались плохо. Сидя перед единственным в доме камином, он замерзал и сердился. Что он искал в этом городе? Даже французские писатели его больше не интересовали. Он посетил салон мадам д'Агу, встретил Виктора Гюго, графа Делиля, Ламартина, Жорж Санд. Они казались ему бабочками, которые легко порхали над мутными водами парижской жизни. «Все это крайне мелко, прозаично, пусто и бесталанно, – писал он Аксакову. – Какая-то безжизненная суетливость, вычурность или плоскость бессилия, крайнее непонимание всего не французского, отсутствие всякой веры, всякого убеждения, даже художнического

убеждения – вот что встречается Вам, куда ни оглянитесь. <<… >> Сквозь этот мелкий гвалт и шум пробиваются, как голоса устарелых певцов, дребезжащие звуки Гюго, хилое хмыканье Ламартина, болтовня зарапортовавшейся Санд; Бальзак воздвигается идолом, и новая школа реалистов ползает в прахе перед ним <<…>>; общий уровень нравственности понижается с каждым днем – и жажда золота томит всех и каждого – вот Вам и Франция! Если я живу здесь, то вовсе не для нее и не для Парижа – а в силу обстоятельств, не зависящих от моей воли». (Письмо от 27 декабря 1856 (8) января 1857 года.)

Эти «обстоятельства, не зависящие от его воли», носили имя – Полина Виардо. Она навестила его в Париже в его квартире, однако их отношения были сугубо дружескими. Вне всякого сомнения, мудрое поведение диктовала «глубоко интимная» болезнь Тургенева. У Полины был, впрочем, другой любовник – художник Ари Шеффер. Весь Париж знал об их связи. Тургенев переносил немилость с бессильной злобой. Он проклинал свой возраст, мочевой пузырь, физическую слабость, одиночество. «Пузырь мой мешает мне писать, нарушая спокойствие и ясность духа, – писал он Боткину. – Я не чувствую себя свободным – точно мне свечку под подошвой держат, ровно настолько, чтобы не зажигалась кожа». (Письмо от 25 ноября (7) декабря 1856 года.) И писателю Дружинину признавался: «Осужден я на цыганскую жизнь – и не свить мне, видно, гнезда нигде и никогда!» (Письмо от 5 (17) декабря 1856 года.) Даже Лев Толстой имел право на его безнадежные признания: «Я в этом чужом воздухе – разлагаюсь, как мерзлая рыба при оттепели. <<…>> Весной я непременно вернусь в Россию, хотя вместе с отъездом отсюда – я должен буду проститься с последней мечтой о так называемом счастье – или, говоря яснее – с мечтой о веселости, происходящей от чувства удовлетворения в жизненном устройстве». (Письмо от 8 (20) декабря 1856 года.) Несколько недель спустя он доверительно писал Анненкову: «Единственная женщина (Полина Виардо. – **А.Т.**), которую я любил и вечно любить буду». (Письмо от 4 (16) марта 1857 года.)

Она в свою очередь дорожила Тургеневым в силу тысячи разных причин. Он, думала она, обаятелен, безупречно одет, постоянен; он прекрасный собеседник, у него верный музыкальный слух, его знаки внимания тактичны. Ей льстило то, что этот большой писатель был настолько покорен ею, что не мог долго находиться вдали от нее. Теперь, когда их отношения ограничивались нежностью, она еще лучше понимала цену его привязанности.

Та степень ревности и отчаяния, до которых дошел Тургенев,

лишала его любой мысли о литературной карьере, которая казалась ему абсурдной. «О себе тебе говорить не стану, – писал он вновь Боткину, – обанкрутился человек – и полно; толковать нечего. Я постоянно чувствую себя сором, который забыли вымести <<…>>. Ни одной *моей* строки никогда напечатано (да и написано) не будет до окончания века. Третьего дня я не сжег (потому что боялся впасть в подражание Гоголю), но изорвал и бросил в watercloset все мои начинания, планы и т. д. Все это вздор. Таланта с особенной физиономией и целостностью – у меня нет, были поэтические струнки – да и они прозвучали и отзвучали, – повторяться не хочется – в отставку! Это не вспышка досады, поверь мне – это выражение или плод медленно созревших убеждений». В том же письме он объявлял своему корреспонденту, что Толстой был проездом в Париже: «Он глядит на все, помалчивая и расширяя глаза; поумнел очень: но все еще ему неловко с самим собою – а потому и другим с ним не совсем покойно. Но я радуюсь, глядя на него: это, говоря по совести, единственная надежда нашей литературы». (Письмо от 17 февраля (1) марта 1857 года.)

В каждом письме ко всем своим русским друзьям он поверял это чередование чувств восхищения и разочарования: «Толстой изменился во многом и к лучшему – но скрып и треск его внутренней возни все еще неприятно действует на человека, нервы которого без того раздражены». (Письмо к Анненкову от 16 (28) февраля 1857 года.) «С Толстым я все-таки не могу сблизиться окончательно: слишком мы врозь глядим». (Письмо к Колбасину от 8 (20) марта 1857 года.) «Несмотря на все мои старанья, сердечно сблизиться с Толстым я не могу. Он слишком иначе построен, чем я. Все, что я люблю, он не любит – и наоборот. <<…>> Но из него выйдет человек замечательный – и я первый буду любоваться и рукоплескать – издали». (Письмо к Анненкову от 9 (21) марта 1857 года.) «Толстой начинает приучаться к терпимости и спокойствию; перебродит это вино – и сделается напитком, достойным богов». (Письмо к Боткину от 23 марта (4) апреля 1857 года.) Толстой в свою очередь писал Боткину о Тургеневе: «Он жалок ужасно. Страдает морально так, как может только страдать человек с его воображением». И, наконец, своей родственнице Татьяне Ергольской: «Его несчастная связь с Полиной Виардо и его дочь держат его здесь в климате, который ему вреден, и на него жалко смотреть. Никогда не подумал бы, что можно так любить». (Письмо на французском языке от 30 марта (11) апреля 1857 года.)

Однако, если один раз Толстой жалел Тургенева, то назавтра – жестоко осуждал его. И как когда-то в Санкт-Петербурге

тщательно записывал эти перепады в настроении в своем личном дневнике: «Обедал с Тургеневым и было легко… он просто тщеславен и мелок». (17 февраля (1) марта 1857 года.) «Сидел с Тургеневым часа три приятно». (20 февраля (4) марта 1857 года.) «И опять вечер славно провел у Тургенева за бутылкой вина и камином». (21 февраля (5) марта 1857 года.) «Тургенев ни во что не верит, вот его беда, не любит, а любит любить». (25 февраля (9) марта 1857 года.) «За обедом сказал ему, чего он не думал, что я считаю его выше себя». (26 февраля (10) марта 1857 года.) «Тургенев скучен. Увы! Он никого никогда не любил». (1 (13) марта 1857 года.) «Зашел к Тургеневу. Он дурной человек, по холодности и бесполезности, но очень художественно-умный и никому не вредящий». (4 (16) марта 1857 года.) «Зашел к Тургеневу. Нет, я бегаю от него. Довольно я отдал дань его заслугам и забегал со всех сторон, чтобы сойтись с ним, но это невозможно». (5 (17) марта 1857 года.) «В 5 зашел Тургенев, как будто виноватый; что делать, я уважаю, ценю, даже, пожалуй, люблю его, но симпатии к нему нету, и это взаимно». (7 (19) марта 1857 года.) «Пошел к Тургеневу. Он уже не говорит, а болтает; не верит в ум, в людей, ни во что». (25 марта (6) апреля 1857 года.) И подводя итог всему: «Тургенев плавает и барахтается в своем несчастии». (18 февраля (2) марта 1857 года.)

Наконец Тургенев, набравшись духу, бежал от этого сентиментального кошмара и в мае 1857 года отправился в Лондон к Герцену. Время было использовано на то, чтобы обменяться с другом какими-то важными мыслями, познакомиться с Карлейлем, Теккереем, Диккенсом, Маколеем, и он устремился в Берлин, а затем в расположенный возле Кобленца Зинциг. Там он принял курс морских ванн и чудесным образом обрел вкус к работе. Маленький немецкий городок, старые липы, чинные ряды виноградников, луна, готическая колокольня, прогуливающиеся в сумерках молоденькие блондинки, широкие воды Рейна – эту мирную картину Тургенев выбрал для своей повести «Ася». Ее героиня, как Полинетта, – незаконная дочь дворянина и служанки. Как Полинетта, благодаря воспитанию она стала «барышней». Только эта барышня, мечтательная и вместе с тем жизнерадостная, удивительно походила на Татьяну из «Евгения Онегина». Она жила в небольшом курортном городке со своим братом Гагиным. Рассказчик тоже укрылся в этом затерянном уголке, чтобы, как автор, бежать от ветреной и жестокой женщины. «Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой… Сперва даже она поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому

лейтенанту». Таким образом, вновь между строчками повести проявляется образ Полины Виардо. Очень скоро рассказчик и Ася полюбили друг друга. Их идиллия развивается на фоне всех элементов немецкой романтической поэзии (руины, солнечные закаты, свет луны, шепот реки). В конце герой не решился просить руки девушки. Гордость Аси была задета, она неожиданно уехала со своим братом, оставив нерешительному поклоннику записку: «Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю – нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово… – я бы осталась». Рассказчик заключает в отчаянии: «Я знавал других женщин, но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось… Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы…» Эта повесть, написанная совершенным языком, неторопливым, гармоничным, привела в восторг большинство друзей Тургенева своей свежестью. Читатели лестно говорили о психологической проницательности автора и его тонком поэтическом чувстве при описании пейзажей. Однако некоторые, Тютчевы среди них, сочли, что Ася – персонаж искусственный. А Толстой в письме к Некрасову сказал даже так: «По моему мнению, самая слабая вещь из всего, что он написал». (Письмо от 21 января (2) февраля 1858 года.) Что касается Тургенева, то он не был удовлетворен своим произведением. «А между тем, – убеждал он Толстого, – я писал ее очень горячо, чуть не со слезами». (Письмо от 27 марта (8) апреля 1858 года.)

Он был еще в Зинциге, когда 24 июля 1857 года узнал о рождении сына у Полины Виардо – Поля[19]. Это был четвертый ребенок в семье. Три дочери – Луиза (1841), Клоди (1852) и Марианна (1854) – родились до появления мальчика. Но кто был отцом маленького Поля? Думая об отношениях, которые были у него с матерью ребенка за девять месяцев до этого, Тургенев мог с гордостью чувствовать себя ответственным за свершившееся чудо. Многие из его окружения были в этом убеждены[20]. Он позволил вылиться своей радости в письме к счастливой матери: «Hurrah! Ура! Lebe hoch! Vivat! Да здравствует маленький Поль! Да здравствует его мать!» (Письмо от 12 (24) июля 1857 года.) И просил ее при первой возможности написать ему, чтобы рассказать, как произошло это событие, которое обрадовало его, что, по его словам, было извинительно в его годы и в его положении. Он, вне всякого сомнения, надеялся, что это рождение приблизит его к Полине Виардо. Однако она не сделала ни малейшего намека на возобновление былых отношений. Мать большой семьи, известная актриса высокомерно игнорировала

этого болезненного чичисбея, который сгорал от любви к ней в немецкой деревушке.

Неожиданно он решил, что лечение, которое он получал в Зинциге, не приносило пользы. «Воды здешние мне вредят, – написал он графине Елизавете Ламберт. – Я дурно себя чувствую. Я должен ехать. Куда? Не знаю сам». (Письмо от 13 (25) июля 1857 года.) Чтобы поправить здоровье, он отправился в Булонь и принял там курс морских ванн. Результаты разочаровали его. Наконец он решил, что только пребывание в Куртавнеле может вылечить его физически и морально. Его приняли там очень холодно. Порадовавшись малышу, который, быть может, был плодом его любви с Полиной, он с досадой почувствовал себя лишним в доме. Не поступил ли он бестактно, побеспокоив друзей в минуты супружеского счастья? Полина часто отсутствовала. Чтобы отвлечься, Тургенев охотился с Луи. «Ты видишь, что я здесь, – писал он Некрасову, – т. е. что я сделал именно ту глупость, от которой ты предостерегал меня… Но поступить иначе было невозможно. Впрочем, результатом этой глупости будет, вероятно, то, что я раньше приеду в Петербург, чем предполагал. Нет, уж точно: „Этак жить нельзя“. Полно сидеть на краюшке чужого гнезда. Своего нет – ну и не надо никакого». (Письмо от 12 (24) августа 1857 года.)

Однако он оставил «чужое гнездо» не для того, чтобы, как сначала предполагал, поехать в Россию, а отправился в Италию с Боткиным, который незадолго до этого присоединился к нему. Они начали с посещения Рима. Оказавшись в этом городе, с которым познакомился семнадцать лет назад, в студенческие годы, Тургенев с грустью сравнивал былое вдохновение с сегодняшней усталостью, тоской, разочарованием. Сорокалетний седеющий мужчина жил как праздный странник, без порта приписки, без корней, без семьи, отверженный единственной женщиной, с которой хотел бы делить дни и ночи, – и все чаще и чаще думал о смерти. Тем не менее он ходил по музеям, развалинам, съездил в римскую деревню, спустился в катакомбы, восхищался великими картинами и спорил об искусстве со своим новым другом художником Ивановым. Полина Виардо не отвечала на его письма. Он жаловался дочери Полинетте: «Прошу тебя написать мне тотчас по получении моего письма и сообщить мне о госпоже Виардо. Я надеялся по приезде сюда (в Рим) найти от нее письмо – но, видно, отсутствующие неправы». (Письмо от 21 октября (2) ноября 1857 года.)

Так как Полина Виардо упрямо хранила холодное молчание, он поверял свои переживания друзьям, оставшимся в России. «Как мне тяжело и горько бывает, этого я вам передать не могу. Работа

может одна спасти меня, но если она не дастся, худо будет! Прошутил я жизнь!» – писал он Анненкову. (Письмо от 31 октября (12) ноября 1857 года.) И графине Ламберт: «В человеческой жизни есть мгновенья перелома, мгновенья, в которых прошедшее умирает и зарождается нечто новое. <<…>> Мне скоро сорок лет; не только первая и вторая, третья молодость прошла – и пора мне сделаться если не дельным человеком, то по крайней мере человеком, знающим, куда он идет и чего хочет достигнуть. Я ничем не могу быть, как только литератором – но я до сих пор был больше дилетантом. Этого вперед не будет». (Письмо от 3 (15) ноября 1857 года.)

Он чувствовал себя способным выполнить это обещание в волнующей атмосфере Вечного города. 22 декабря 1857 года сообщал графине Ламберт, что начал писать «большую повесть, главное лицо которой – девушка, существо религиозное». Этой повести суждено будет стать романом «Дворянское гнездо». Он работал над ним вдохновенно, воссоздавая в атмосфере благородных римских камней русские пейзажи, русские лица, русскую жизнь. Может быть, это последнее произведение возместит все моральные страдания, которые он перенес во время своего путешествия? «Я знал перед моей поездкой за границу, перед этой поездкой, которая так была для меня несчастлива – что мне было бы лучше оставаться дома… и я все-таки поехал», – писал он ей в том же письме. Весной 1858 года он оставил Рим, не завершив своего романа, и отправился во Флоренцию, Вену, Дрезден, Лейпциг, Лондон, где вновь встретил Герцена. Тот издавал теперь журнал «Колокол», в котором жестко критиковал царский режим. Номера издания пересылались тайно в Россию. Писатели страстно спорили о проекте реформирования положения крепостных крестьян, которое намеревался осуществить в России Александр II. Вдохновленный этой инициативой, Тургенев верил в мудрость и благородство царя. Вся Россия была возбуждена. Это было еще одним поводом для того, чтобы поспешить вернуться на родину.

В середине июня Тургенев был уже в Спасском. К нему приехал друг Фет. Целыми днями в любую погоду они пропадали на охоте. Под солнцем, проливным дождем они охотились, соревнуясь в удаче. А когда уставали – несколько часов отдыхали в стогу сена, потом обедали. Россия дышала им в лицо ароматом своих полей и лесов. Возвращаясь домой, работали. Охота, чтение долгими вечерами и литературные споры – все это было идеальной атмосферой для завершения редакции «Дворянского гнезда». Иногда Тургенев исчезал из Спасского, отправляясь в Ясную Поляну к Толстому. Он развлекался, ухаживая за сестрой

Толстого Марией, которая принимала знаки его внимания за чистую монету. Разъяренный Толстой пометил в своем дневнике: «Тургенев скверно поступает с Машенькой. Дрянь!» (Толстой. Дневники. 4 сентября 1858 года.) А Тургенев писал Боткину: «Я с Толстым покончил все свои счеты: как человек он для меня более не существует. < < … > > Если я ем суп и он мне нравится, я уже по *одному этому* наверное знаю, что Толстому он противен – et vice versa[21]». (Письмо от 12 (24) апреля 1859 года.)

Он вновь встретил Толстого в Дворянском собрании. Предстоящее освобождение крестьян, объявленное царем, волновало помещиков. Они боялись, что часть их земель будет изъята в пользу крестьян за мизерную плату. Ненавидевший с самых ранних лет крепостное право Тургенев с нетерпением ждал претворения аграрной реформы в жизнь. Толстой же, казалось, меньше спешил с освобождением мужиков. Будучи либералом, он все еще оставался на стороне собственников. Именно в это пребывание в Спасском, в самый разгар лета Тургенев узнал о смерти своего счастливого соперника – художника Ари Шеффера. С достоинством написал он письмо-соболезнование Полине: «Я не решался говорить вам о моих предчувствиях; я пытался убедить себя самого, что все может еще хорошо кончиться, – и вот его нет! Я очень сожалею о нем ради него самого; я жалею обо всем, что он унес с собою; я глубоко чувствую жестокую боль, причиненную вам этой потерей, и ту пустоту, которую вы лишь с большим трудом заполните… Это не утешение я вам предлагаю, это дружеская рука, которую я вам протягиваю, это – преданное сердце, говорящее вам, чтобы вы рассчитывали на него так же, как на сердце, которое только что перестало биться». (Письмо от 25 июня (7) июля 1858 года.)

27 октября 1858 года Тургенев поставил последнюю точку в романе «Дворянское гнездо». Два месяца спустя он предложил его для прочтения группе друзей, среди которых были Некрасов, Анненков, Писемский, Гончаров. Он лечился от сильного бронхита и не мог читать рукопись сам. За дело взялся Анненков. Для чтения понадобилось два вечера. Друзья единодушно одобрили роман. Анненков, однако, сделал несколько критических замечаний, а Гончаров указал на внушающее подозрение сходство с его собственным романом «Обрыв», подробный план которого он когда-то давал Тургеневу. Последний уклонился от объяснений, но в текст внес поправки, которые устроили его придирчивого собрата. Позднее, чтобы оправдать себя от обвинения в плагиате, он написал Гончарову: «Что же прикажете мне делать? Не могу же я повторять „Записки охотника“ ad infinitum[22]! А бросить писать тоже не хочется.

< <… > > Берите меня, каков я есмь, или совсем не берите; но не требуйте, чтоб я переделался, а главное, „не считайте“ меня таким Талейраном, что у-у! А впрочем, довольно об этом. Вся эта возня ни к чему не ведет: все мы умрем и будем смердить после смерти». (Письмо от 7 (19) апреля 1859 года.)

Сюжет «Дворянского гнезда» был очень простым. Лаврецкий, герой романа, стареющий, разочарованный в жизни человек (его портрет едва очерчен автором) привез свою жену в Париж, где она стала любовницей двадцатитрехлетнего француза-ловеласа. Раскрыв измену, Лаврецкий оставляет неверную жену и, разочарованный, переживая чувство негодования, вскоре отказывается даже вспоминать о ней. «Лаврецкий не был рожден для страданий, природа требовала своего». Вернувшись в Россию, он встречает в доме друзей юную Лизу и тотчас оказывается во власти чар этой чистой, набожной и непосредственной девочки. Ему даже кажется, что жизнь рождается вновь, обретает новое течение. В самый разгар увлечения он узнает из объявления, появившегося в одном из парижских журналов, что его жена умерла. Став свободным, он объявляет о своей любви девушке. Она отвечает ему взаимностью. Они решают пожениться. Однако некролог оказался ошибочным. Оставленная жена возвращается и представляет Лаврецкому девочку, отцом которой, по ее словам, он является. С жалкой беспринципностью она просит у него прощения и настаивает на возвращении в дом. Лаврецкий отказывается жить вместе с ней. Бедная Лиза уходит в монастырь.

На этой интриге, банальной и мелодраматичной, Тургенев построил деликатный, гуманный и глубокий роман. Поэзией дышит весь рассказ о найденном и тотчас потерянном счастье. Более того, произведение покоится в мирном ореоле русской деревни. Эта деревня, волнующая, с ее особыми запахами, деревня полуденная и ночная обостряет чувства героев. Успех «Дворянского гнезда» был огромным и у читателей, и у критиков. По общему мнению, Тургенев не имел равных себе среди современных русских писателей. Толстой опубликовал только трилогию «Детство», «Отрочество», «Юность» и несколько рассказов. Достоевский после многообещающего начала молчал, изгнанный в Сибирь по воле императора Николая I. Путь был свободен. В первый раз за долгие годы Тургенев мог сказать себе, что его литературная слава возмещала в какой-то степени его неудачу в любви.

Глава VII
Либерализм и нигилизм

Окунувшись в водоворот русской интеллектуальной среды, Тургенев все больше и больше убеждался, что спасение его страны было в быстрых реформах и широких связях с Европой. Благодаря смелым инициативам Александра II комиссия разрабатывала проект отмены крепостного права. Либеральнее стала цензура. Волновались студенты, желая принять участие в ниспровержении старого строя. Тургенев мечтал с некоторых пор рассказать об этих стремительных переменах в новой книге. Он также хотел быть свидетелем своего времени. В голову пришла мысль создать образ девушки-идеалистки, порывающей с мещанским обществом ради того, чтобы разделить судьбу деятельного, решительного и сильного человека. Несколько лет назад деревенский сосед Тургенева Каратеев, отправляясь в начале Крымской войны на фронт, передал ему тетрадь, где очень неумело рассказал о своей любви к девушке, которая отвергла его чувства. Впоследствии эта девушка познакомилась с болгарином-патриотом, полюбила его и уехала с ним в Болгарию, где он умер от туберкулеза.

Эта история, которой Тургенев не придал сначала значения, вдруг, по прошествии нескольких лет, настойчиво напомнила ему о себе. Он нашел в ней, наконец, своего героя с сильным характером, который покорил независимую девушку! Если Рудин был «лишним человеком», человеком прошлого, то этот герой будет честным человеком, душой и телом преданным благородному делу, человеком сегодняшнего дня и, может быть, человеком будущего. Увлеченный своей идеей Тургенев в марте 1859 года в Спасском принялся за работу над новым романом, который назвал «Накануне». Он продолжил ее в Санкт-Петербурге, Париже, Виши и, наконец, в Куртавнеле, где с горечью сделал для себя вывод, что для Полины Виардо он всего лишь старый безобидный друг. «Здоровье мое хорошо; но душа моя грустна, – писал он графине Ламберт. – Кругом меня правильная семейная жизнь… для чего я тут, и зачем, уже отходя прочь от всего мне дорогого, – зачем обращать взоры назад? Вы поймете легко и что я хочу сказать, и мое положение. Впрочем, тревоги во мне нет; говорят: человек несколько раз умирает перед своей смертью… Я знаю, что во мне умерло; для чего же стоять и глядеть на закрытый гроб?» (Письмо середины июля 1859 года.)

По возвращении в Россию в начале осени 1859 года он

занялся распределением участков земли среди своих крестьян и определил им умеренный оброк, не дожидаясь обнародования крестьянской реформы. Наконец, он переписал начисто свою рукопись и перечитал ее со смешанным чувством удовлетворения и беспокойства. Это был первый его социальный роман. Русская девушка бежала, наконец, из своего «гнезда» и последовала за сильным человеком, который сражался за освобождение своей родины, находившейся под турецким игом. Однако если сила чувства Елены внушала уважение читателям, то железный демагог Инсаров был героем более чем условным. До конца книги он являл собой абстрактную идею, в которую писатель не смог вдохнуть жизнь. Запоминалось то, что этот патриот был болгарином, восторженным и упрямым. Это оказалось недостаточным для того, чтобы он стал реальной личностью.

Когда графиня Ламберт познакомилась с романом, она была неприятно поражена. Все в этой истории возмущало ее. И более всего поведение Елены, которая порывала со своей семьей из-за любви к политическому авантюристу. Глубоко огорченный подобной реакцией своего лучшего друга, Тургенев хотел сначала уничтожить рукопись. Анненков разубедил его. Однако с публикацией «Накануне» в «Русском вестнике» на роман обрушилась критика. Консервативные газеты обличали аморальность героини и противопоставляли ее истинной русской женщине, набожной, скромной, достойной и уважающей семейные традиции. Либеральные газеты сочли, что герой не был достаточно убедительным в своих действиях и что все произведение имело ярко выраженную славянофильскую окраску. Самые грубые обвинения исходили прямо из «Современника», журнала, в котором Тургенев постоянно сотрудничал. Возглавляемый по-прежнему Некрасовым, журнал с некоторых пор – с приходом в его команду молодых писателей, бескомпромиссных и дерзких, – был больше ориентирован влево. Скромный, как обычно, Тургенев попытался дружелюбием и советами расположить их к себе. Однако они не оценили ни любезности, ни мягкосердечия старшего товарища. Они судили о нем как о «человеке прошлого», сочетавшем в себе манеры знатного барина, изысканную элегантность, приторное красноречие, утонченный гастрономический вкус с бесплодными чувствами и устремлениями. Он, со своей стороны, страдал от их плохого воспитания, их высокомерия, их грязных ногтей, их нечесаных шевелюр и разрушительных теорий, которые они открыто провозглашали. Таким образом, либерал старой школы столкнулся с новым поколением революционных демократов.

Во главе шеренги разрушителей был в «Современнике» экс-

обожатель Тургенева публицист Чернышевский, который настолько «радикализовался», что совершенно не переносил изысканную и размеренную прозу «старого мастера». Был также в группе иконоборцев молодой, больной туберкулезом критик большого таланта – Добролюбов. Когда Тургенев попытался дружески заговорить с ним, он резко оборвал его: «Иван Сергеевич, мне скучно разговаривать с вами, оставим!» На только что вышедший «Накануне» Добролюбов написал гневную статью, в которой объявлял, что Тургенев робко писал портрет своего героя, что ему следовало бы быть русским человеком, а не болгарином и что он в любом случае патриот должен быть более действенным в борьбе против «чужеземного ига». Критикуя книгу, Добролюбов явно исходил не из романической позиции, а из позиции идеологической и упрекал автора в том, что он не сумел наделить своего героя душой настоящего революционера. Перед публикацией рукопись была передана Тургеневу, который, почувствовав предательство, написал по горячим следам Некрасову: «*Убедительно тебя* прошу, милый Н<<екрасов>>, *не печатать этой статьи*: она кроме неприятностей ничего мне наделать не может, она несправедлива и резка – я не буду знать, куда деться, если она напечатается». (Письмо от 19 февраля (2) марта 1860 года.) Возмущение Тургенева было совершенно искренним, ибо он считал, что показал в «Накануне» всю свою веру в «новых людей», которым предстоит обновить мир. Как они, он ненавидел крепостное право, как они, он мечтал о будущем, построенном на равенстве и справедливости, как они, он был другом Герцена. Однако они с презрением отталкивали его. Когда же они поймут, что его позиция в политике была однозначной и что он, несмотря на кажущуюся податливость характера, никогда не изменит ей? Противник кровавых мер, он не смирялся с существующим положением вещей. Более, чем они, может быть, называвшие себя «прогрессистами», он был обращен в будущее. Временами он спрашивал себя, не возраст ли его был причиной их неосознанных упреков? Статья Добролюбова появилась в мартовском номере «Современника». За нею последовали другие, написанные в том же тоне. Юмористическая газета «Свисток» язвила по поводу того, что Тургенев «тащился за шлейфом бродячей певички». Но более тяжелую рану нанес ему именитый собрат. Напоминая о подозрениях, которые он высказывал по поводу «Дворянского гнезда», Гончаров обвинял теперь Тургенева в том, что «Накануне» был равно заимствован у него. Измученный болезненной чувствительностью автора «Обрыва», Тургенев потребовал третейского суда. Избранные арбитры – Анненков, Дружинин и Дудышкин, – крайне затрудненные делом, поставили

двух противников спиной к спине, объясняя, что совпадение их романов было обязано обращением к одной общей, «исконно русской» теме. Следствием этого спора было то, что Тургенев разорвал с Гончаровым отношения.

Тем временем он написал большую повесть «Первая любовь», которая была опубликована в марте 1860 года в «Библиотеке для чтения». Ее сюжет был автобиографичным. Тургенев рассказал о своем юношеском увлечении соседкой по даче Катериной Шаховской (в повести – Зинаида), в которую он влюбился и которая была любовницей его отца. Все здесь соответствовало правде: ситуация, характеры, место действия. Изящный легкий стиль, верные наблюдения, выбор характерных деталей сделали этот текст настоящим психологическим и поэтическим шедевром. Однако в который раз мнения критики разделились. Одни – из среды либералов – упрекали автора в том, что не воспроизвел в повести ни одного из значительных политических и социальных вопросов, которые волновали Россию. Другие – из ряда консерваторов – обвиняли в том, что снизошел до неприличий, показав отца и сына, влюбленных в одну женщину, написал о девушке – любовнице женатого человека. Графиня Ламберт объявила Тургеневу, что император прочел «Первую любовь» императрице и был восхищен ею. Однако тотчас добавляла: «Мне кажется, что эта книга – одно из ваших плохих деяний, но вы делаете зло, которому трудно противиться». (Письмо от 30 января 1861 года. В книге: А. Гранжар «Ivan Tourguenev, la comtesse Lambert et „Le nid des seigneurs“».) Тургенев ответил ей: «Я писал вовсе не с желанием бить, как говорится, на эффект << … >> она дана мне была целиком самой жизнью. << … >> Если бы кто-нибудь меня спросил, согласился ли бы я на уничтожение этой повести, так, чтобы и следа бы от нее не осталось… я бы покачал отрицательно головой». (Письмо от 16 (28) февраля 1861 года.) Даже Луи Виардо, столь снисходительный к неверности своей жены, возмутился тем, что писатель величины Тургенева мог находить удовольствие в такой «нездоровой» литературе. «Снова адюльтер, всегда процветающий и прославляемый адюльтер! – писал он. – И кто же рассказывает эту скандальную историю? Его сын (сын неверного мужа), какой стыд! Его собственный сын, который не следует за детьми Ноя, закрывающими опьянение и наготу своего отца, а выставляет их на всеобщее обозрение… Чему же служит после этого талант, растрачиваемый на подобный сюжет?» (Письмо к И. С. Тургеневу от 23 ноября 1860 года, опубликовано А. Звигильским в книге «Tourguenev. Nouvelle correspondance inedite».) Однако большая часть читателей была восхищена «Первой любовью», сочетавшей

свежесть и смелость, порок и невинность, грубость и нежность.

Тургенев мог бы использовать эту сентиментальную струю для создания следующего романа. Он предпочел найти нечто новое. Став жертвой нападок фракции интеллектуальной молодежи, он захотел написать в своей будущей книге портрет одного из этих «героев нашего времени», которые не думали уже о созидании, как их старшие товарищи, но о разрушении. Этот новый роман должен был получить название «Отцы и дети». По сложившейся привычке он провез рукопись через Европу – из Спасского в Лондон, в Куртавнель, в Париж.

Именно в Париже он узнал об обнародовании императорского манифеста 19 февраля 1861 года, принесшего освобождение крепостным. Его радость была так велика, что он, считавший себя человеком далеким от религии, отправился на благодарственный молебен в православную церковь. Он торопился вернуться в Россию, чтобы переживать на месте волнующие события освобождения, однако под разными предлогами задержался во Франции. Герцену, который упрекал его за эти уловки, Тургенев, ничуть не смущаясь, писал: «Охота же тебе поворачивать нож в ране! Что же мне делать, коли у меня дочь, которую я должен выдавать замуж, и потому поневоле сижу в Париже? Все мои помыслы – весь я в России». (Письмо от 25 февраля (9) марта 1861 года.) И умолял Анненкова осведомить его о настроениях в русской деревне после шока эмансипации. «Здесь, – писал он ему, – господа русские путешественники очень взволнованы и толкуют о том, что их ограбили». (Письмо от 22 марта (3) апреля 1861 года.)

Наконец 21 апреля (3) мая 1861 года он отправился в дорогу. По приезде в Спасское он занялся определением судьбы своих крестьян. Согласно новому статусу, каждый мужик получал в полную собственность свой дом, прилегающий к нему участок и надел, равный тому, который обрабатывал раньше. Государство выдавало компенсацию деньгами за этот надел помещику, а крестьяне должны были в течение 49 лет вернуть долг государству по шести копеек на предоставленный рубль, включая амортизацию и проценты. Мировые посредники на общественных началах, избираемые из почетных граждан местности, должны были наблюдать за разделом. Чтобы определить площадь предоставляемых бывшим крепостным наделов, следовало принимать во внимание характер почвы, климат, местные обычаи. Исходя из этого Россия была разделена на три зоны: черноземные, или плодородные, земли, неплодородные земли, степи. Эта сложная система вызывала недовольство и помещика, который считал, что у него отняли состояние, которое

унаследовал от предков; и мужиков, которые не понимали, почему господские земли не передаются им целиком и бесплатно. Тургенев, который ожидал вздоха облегчения со стороны народа, был разочарован. Вместо братского сближения между освобожденными крепостными и их старыми хозяевами он видел с обеих сторон рост недоверия, лжи, враждебности. Каждая сторона старалась обмануть другую. Жестоко спорили за определение малейшей пяди земли при установке межевых знаков. «С моими крестьянами дело идет – пока – хорошо, – писал Тургенев своему другу Полонскому, – потому что я им сделал все возможные уступки, – но затруднения предвидятся впереди». (Письмо от 21 мая (2) июня 1861 года.) И тому же Полонскому говорил: «Будем мы сидеть поутру на балконе и преспокойно пить чай и вдруг увидим, что к балкону от церкви по саду приблизится толпа спасских мужичков. Все, по обыкновению, снимают шапки, кланяются и на мой вопрос: „Ну, братцы, что вам нужно?“ – отвечают: „Уж ты на нас не прогневайся, батюшка, не посетуй… Барин ты добрый, и оченно мы тобой довольны, а все-таки, хошь не хошь, а приходится тебя, да уж кстати вот и их (указывая на гостей) повесить“. А Анненков получил от Тургенева следующее признание: „Мои уступки доходят до подлости. Но Вы знаете сами, что за птица русский мужик: надеяться на него в деле выкупа – безумие. < < … > > Всякие доводы теперь бессильны“». (Письмо от 7 (19) июня 1861 года.)

Толстой согласился самолично быть мировым, чтобы полюбовно уладить споры между помещиками и крестьянами. Тургенев пригласил его в Спасское и после обеда, желая засвидетельствовать свое доверие, передал ему рукопись только что законченного романа «Отцы и дети». Уставший от дороги и отяжелевший от обеда Толстой, пробежав глазами несколько страничек, заснул. Тургенев расстроился, однако досады своей не показал. На следующий день мужчины отправились в имение Фета Степановку, находившееся от них в 70 верстах. Едва сели за стол с самоваром, как разгорелась ссора. Разговор зашел о благотворительности. Тургенев с гордостью рассказал, что его дочь Полинетта, которую воспитывала английская гувернантка мадам Иннис, получала каждый месяц определенную сумму, чтобы оказывать помощь «своим бедным». «Теперь, – сказал Тургенев, – англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности». – «И это вы считаете хорошим?» – спросил Толстой. «Конечно, это сближает благотворительницу с насущною нуждой». – «А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет

неискреннюю, театральную сцену». – «Я вас прошу этого не говорить», – воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями. «Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден», – отвечал Толстой. Фет хотел было изменить тему разговора, однако побледневший от гнева Тургенев уже подскочил к Толстому: «Так я вас заставлю молчать оскорблением!» С этими словами он выскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через минуту, успокоившись, он вернулся в столовую и сказал Фету и его жене: «Ради бога, извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». (Эта сцена подробно описана в «Воспоминаниях» А. Фета.) Пробормотав несколько извинительных слов Толстому, сконфуженный и расстроенный Тургенев уехал в Спасское.

Толстой в свою очередь попрощался с гостями. Однако в дороге утихший было гнев воспылал с новой силой. Он остановился в Новоселках, имении своего друга Борисова, и оттуда отправил с верховым угрожающую записку Тургеневу: он требовал прислать письмо-извинение, которое мог бы «показать Фету и его жене», или явиться самолично на дуэль на почтовую станцию Богослов, где он будет его ждать. Оскорбленный, униженный, но сознающий нелепость ситуации, Тургенев ответил: «Я могу повторить только то, что я сам почел своей обязанностью объявить Вам у Фета: увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой теперь входить не место, я оскорбил Вас безо всякого положительного повода с Вашей стороны – и попросил у Вас извинения. Это же самое я готов повторить теперь письменно – и вторично прошу у Вас извинения. – Происшедшее сегодня поутру доказало ясно, что всякие попытки сближения между такими противуположными натурами, каковы Ваша и моя, – не могут повести ни к чему хорошему; а потому я тем охотнее исполняю мой долг перед Вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами». (Письмо от 27 мая 1861 года.)

Примирительный тон письма, конечно, сгладил бы гнев адресата, но Тургенев по недосмотру переправил его Борисову в Новоселки, считая, что Толстой еще находится там, в то время как тот уже переехал на почтовую станцию Богослов, где ждал ответа на свой вызов. Так как курьер на почтовой станции не появился, то Толстой, обезумевший от гнева, написал второе письмо, требуя немедленной дуэли. Не той пародии на удовлетворение чести, на которой два писателя обменяются несколькими пулями, заботясь о том, чтобы промахнуться, и

закончат вечер, распивая шампанское. Он назначил место выяснения отношений – опушка леса у Богослова – и просил Тургенева быть там следующим утром с пистолетами. На заре слуга, приехавший из Новоселок, привез ему ответ Тургенева на его первое письмо; затем другой слуга – из Спасского – спешно прибыл с ответом на второе. «Скажу без фразы, – писал Тургенев, – что охотно бы выдержал Ваш огонь, чтобы тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я его высказал, так далеко от привычек всей моей жизни, что я могу приписать это не чему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. Это не извинение, я хочу сказать – не оправдание, а объяснение. И потому, расставаясь с Вами навсегда, – подобные происшествия неизгладимы и невозвратимы, – считаю долгом повторить еще раз, что в этом деле правы были Вы, а виноват я. Прибавлю, что тут вопрос не в *храбрости*– которую я хочу или не хочу показывать – а в признании за Вами – как права привести меня на поединок, разумеется, в принятых формах (с секундантами), так и права меня извинить. Вы избрали, что Вам было угодно – и мне остается покориться Вашему решению». (Письмо от 28 мая 1861 года.) Толстой ответил ему со злобным удовлетворением: «Вы меня боитесь, а я вас презираю, и никакого дела с вами иметь не хочу». (Дневники гр. С.А. Толстой.) Затем он отправил оба письма Тургенева Фету, сопроводив их язвительными комментариями. Тургенев, считавший ссору погашенной, уже отправился в Париж, когда узнал от своего друга Колбасина, большого любителя сплетен, новость о том, что Толстой распространяет о нем клеветнические слухи. Неужели эта грязная история будет преследовать его всю жизнь? Казалось, что свора шавок мчится за ним по пятам. Весь его старый гнев вспыхнул вновь. Он написал Толстому: «Я узнал, что Вы распространили в Москве копию с последнего Вашего письма ко мне, причем называете меня трусом, не желавшим драться с Вами, и т. д. <<…>> Но, так как я считаю подобный Ваш поступок *после всего того, что я сделал, чтобы загладить сорвавшееся у меня слово*, – и оскорбительным и бесчестным, то предваряю Вас, что я на этот раз не оставлю его без внимания и, возвращаясь будущей весной в Россию, потребую от Вас удовлетворения». (Письмо от 26 сентября – 8 октября 1861 года.)

На этот раз Толстой посчитал урок достаточным. Впрочем, с недавних пор он чувствовал себя настроенным на христианское благодушие. Перейдя легко с гнева на милость, он ответил своему противнику: «Милостивый Государь, Вы называете в письме своем мой поступок *бесчестным,* кроме того, Вы лично

сказали мне, что вы *„дадите мне в рожу“,* а я прошу у вас извинения, признаю себя виноватым – и от вызова отказываюсь». Одержав верх, Тургенев написал Фету, чтобы попросить его объявить Толстому, что он тоже отказывается от дуэли. «А теперь – всему этому делу – de profundis[23]», – заключал он. (Письмо от 8 (20) ноября 1861 года.) Фет счел необходимым довести до сведения Толстого слова этого письма. Но тот тем временем вышел из миролюбивого периода. Он ввязал в ссору всех: и седеющего мандарина[24] с хрупкими нервами, который посмел оказывать ему сопротивление, и друзей, которые пытались помирить их. В крайнем раздражении он написал Фету: «Тургенев – *подлец, которого надобно бить,* что я прошу вас передать ему так же аккуратно, как вы передаете мне его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы о нем не говорить. И прошу вас не писать ко мне больше, ибо ваших, так же, как и Тургенева, писем распечатывать не буду».

В течение семнадцати лет Тургенев и Толстой не будут больше ни видеться, ни переписываться. Внимание русской публики привлекало теперь другое имя. Достоевский, вернувшийся из ссылки, с блеском уже опубликовал роман «Униженные и оскорбленные» и повесть «Записки из мертвого дома», о своих страшных испытаниях на сибирской каторге. Кроме того, он издавал журнал «Время». Тургенев пообещал ему выслать в ближайшее время фантастическую повесть «Призраки». Однако работал над ней вяло, всецело поглощенный завершением большого романа «Отцы и дети». Он очень рассчитывал на это произведение, которое, думал он, со всей искренностью выражало его обеспокоенность новой ориентацией молодежи. Он не так давно разорвал отношения с «Современником» из-за постоянных нападок со стороны молодых прогрессивных сотрудников этого журнала и обратился в «Русский вестник» Каткова для публикации «Отцов и детей». Рукопись была отправлена по почте 24 января (5) февраля 1862 года. «Повесть моя отправлена в „Русский вестник“, – писал Тургенев Полонскому, – и, вероятно, явится в февральской книжке. Жду большой брани, но я на этот счет порядочно равнодушен». (Письмо от 24 января – 5 февраля 1862 года.)

В течение всей работы над «Отцами и детьми» он старался быть беспристрастным. Его главной мыслью была мысль о том, что художник ничего не должен доказывать. Показывать, подсказывать, просвещать, но не выносить никаких суждений о характере и поступках своих героев. Тема книги на этот раз была взята из драматической действительности. Речь шла о воспроизведении напряженных отношений между двумя

поколениями, которые были разделены пропастью ссор. С одной стороны – дети – жестокие, упрямые, враги существующего строя, уверенные в своей правоте; с другой – стареющие родители, желающие сблизиться со своими сыновьями, своими дочерьми и наталкивающиеся на их отказ, их презрение. Этот старый как мир конфликт стал особенно напряженным в России в шестидесятые годы. Научный материализм уже начал брать верх над мечтательным либерализмом в студенческой среде. Чтобы развить этот идеологический замысел в романе, Тургеневу нужна была модель. Он нашел ее, по его собственному признанию, в августе 1860 года во время пребывания в Вентноре на острове Уайт, где принимал морские ванны. «С своей стороны, я должен сознаться, что никогда не покушался „создавать образ“, если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо. <<…>> Точно то же произошло и с „Отцами и детьми“; в основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. В этом замечательном человеке воплотилось – на мои глаза – то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно; я, на первых порах, сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета – и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая проверить правдивость собственных ощущений». (И.С. Тургенев. «Литературные и житейские воспоминания».)

К этой особенной личности он добавил черты, взятые у молодых писателей, с которыми встречался в Петербурге, и из подобной духовной смеси родил тип холодного бунтаря Базарова. Человек нового времени, Базаров не признает ни религиозных, ни моральных или установленных законом ценностей и склоняется только перед научными доводами. Однако в отличие от Рудина, который не пошел дальше споров по поводу какой-либо теории, он претворяет эту теорию в жизнь. Он презирает комфорт, он циничен, он считает себя недоступным для душевных переживаний. Но именно здесь судьба расставила для него сети. Отрицая реальность любви, презирая нежность, он не может противостоять влечению к женщине. И в конце этой борьбы должен признать, что идеи бессильны перед зовом сердца, зовом крови. Он глупо погибает от заражения крови; родители оплакивают его, не сумев понять.

Чтобы определить философию этого трагического отрицателя, Тургенев ввел слово «нигилизм». «Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы

уважением ни был окружен этот принцип…» «Да, – ответил дядя. – Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, мне пора пить мой какао».

Нигилист Базаров намерен приложить к политике строгие научные методы. Он заявляет, что устал от реформаторских дискуссий отцов. Он пытается упрекать старших в том, что они теряют время на слова, проповедует искусство ради искусства, парламентаризм, дружеское согласие вместо того, чтобы думать о хлебе насущном. Он представляет себя реалистом рядом с вялым поколением мечтателей. Что касается отцов, то рядом с этими одержимыми деятелями они робко возражают против того, что их называют бесполезными и надоедливыми демагогами. «Наша песенка спета», – вздыхают они. Тем не менее сознают, что и они когда-то увлеченно боролись за идеалы справедливости. Они не отрицают своего былого преклонения перед искусством, перед поэзией. Они пытаются несмело передать свои вкусы вновь пришедшим. Однако те отрицают любую литературу, если она недейственна, неангажированна, небоеспособна. Только прямая политика имеет для них цену. Они даже не отрицают идеи использования насилия ради осуществления своих намерений.

Изобретая Базарова, Тургенев осуществил сложную задачу, создав типичного представителя эпохи и наделив его человеческими очертаниями. Благодаря таланту автора этот доктринер получился существом из плоти и крови. В сознании читателя, закрывшего книгу, надолго оставался образ, наваждение, нечто тяжелое и незабываемое: спутник на всю жизнь. Другие персонажи были написаны так же страстно. «Отцами и детьми» Тургенев значительно превзошел все свои предыдущие удачи и достиг в анализе характеров, описаниях природы, социальной среды такого совершенства, которое поставило его во главе писателей своего времени.

Книга потрясла общественное мнение. Однако читатели и критики, захваченные сюжетом, не заметили художественного достоинства произведения, заинтересовавшись только его политическим содержанием. Между тем Тургенев с нежностью относился к своему герою-бунтарю. Он сдерживал слезы, описывая его смерть. «За исключением воззрений Базарова на художества, – я разделяю почти все его убеждения», – скажет писатель несколько лет спустя. (И.С. Тургенев. «По поводу „Отцов и детей“».) Для всех консерваторов этот герой служил осуждению заблуждений русской молодежи. Они поздравляли автора со смелостью, которая позволила ему изобличить опасности

свободомыслия. Напротив, левая пресса во главе с «Современником» была беспощадна. Некто Антонович упрекал в этом журнале Тургенева в «отжившем эстетизме», карикатурном изображении прогрессивной доктрины, в презрении к делу женской эмансипации и в бесстыдном использовании некоторых статей Добролюбова для насыщения содержанием речи Базарова. Молодые увидели в авторе «Отцов и детей» приспешника жесткой реакции, человека прошлого, держащегося за свои привилегии и неспособного понять дух независимости, который не так давно родился в России. Они отворачивались от него, они поносили его на своих собраниях, они сжигали его фотографии. «Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатических людях; я получал поздравления, чуть не лобызания, от людей противного мне лагеря, от врагов. Меня это конфузило… огорчало; но совесть не упрекала меня: я хорошо знал, что я честно, и не только без предубежденья, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу». (И.С. Тургенев. «По поводу „Отцов и детей“».)

Русским студентам в Гейдельберге, возмущенным «Отцами и детьми», которых они рассматривали как резкую критику молодого поколения, Тургенев ответил не прямо, а через письмо к поэту Случевскому, который был среди них. Его задачей, говорил он, было заставить полюбить Базарова «со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью…» «Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная – и все-таки обреченная на погибель – потому, что она все-таки стоит еще в преддверии будущего <<…>> а мои молодые современники говорят мне, качая головами: „ты, братец, опростоволосился и даже нас обидел. <<…>> Мне остается сделать, как в цыганской песне: „снять шапку да пониже поклониться““». И там же: *«Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса.* Вглядитесь в лица Н<<икола>>я П<<етрович>>а, П<<авл>>а П<<етрович>>а, Аркадия. Слабость и вялость или ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно *хороших* представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко?» (Письмо от 14 (26) апреля 1862 года.) Однако напрасно он – то унижаясь, а то возмущаясь, то в личных разговорах, а то в письмах – оправдывался перед друзьями. Для большей части его читателей левого направления он предал свои идеи. Если Достоевский, Анненков, Боткин, Тютчев рассыпали похвалы, то Фет, Аксаков, даже Герцен упрекали его в том, что написал памфлет, слишком

откровенно направленный против новой команды «Современника». Его хулители легко забыли его позицию в защиту преследуемых революционеров. В начале года, находясь в Париже, он принял Бакунина, бежавшего из Сибири, обеспечил его годовым содержанием в тысячу пятьсот франков и поставил подпись в его защиту. По возвращении в Санкт-Петербург испросил и добился разрешения посетить братьев Бакуниных, заключенных в Петропавловской крепости. Эти неоднозначные демарши, помноженные на его дружбу с Герценом, вызывали подозрительное отношение властей. Однако их было недостаточно для того, чтобы обелить его в глазах прогрессистов. Имя Базарова висело на его груди как табличка бесчестия. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, – отныне он был виновен в преступлении против молодого поколения.

Глава VIII
Баден-Баден

С некоторых пор Полина Виардо заметила, что мощное, волнующее контральто стало подводить ее. Каждый раз, когда выходила на сцену, она боялась потерять голос. Уже в «Орфее» Глюка, своем недавнем триумфе, она больше играла, нежели пела. Не желая встретить неодобрение публики, которая когда-то обожала ее, она предпочла сама уйти со сцены. В сорок один год она сохранила величественную осанку, живой взгляд и очаровательную улыбку. Отныне она решила вести спокойную жизнь в окружении детей (Луизы – старшей, Клоди – любимицы Тургенева, Марианны и четырехлетнего Поля), давая уроки пения, сочиняя музыку, организовывая концерты. Она могла бы, конечно, обосноваться в Париже. Но, с одной стороны, ей не хотелось жить в бездеятельности в городе, где она познала славу, а с другой – она, как ее муж, как Тургенев, враждебно относилась к авторитарному режиму Наполеона III.

Продав замок в Куртавнеле, она остановилась в Германии, в Баден-Бадене, где сначала наняла квартиру, а затем купила большую виллу, которую собиралась сделать своим постоянным домом. Взгляды Тургенева тотчас обратились к этому мирному зеленому курортному городку, где жила женщина, которую он никогда не переставал любить. В России он с горечью чувствовал враждебное отношение к себе и своему творчеству части своих соотечественников. Экзальтированная молодежь изгнала его за пределы родины. Почему бы не заглянуть в Германию, чтобы изменить ход мыслей? Он отправился в Баден-Баден и был очарован сельскими пейзажами и приемом Полины Виардо. После охлаждения отношений он нашел ее такой же живой, соблазнительной и хорошо к нему расположенной, как в лучшие времена их связи. Конечно, с ее стороны это была уже не любовь, но нежная дружба, уважительное отношение, которые наполняли его покоем, как ласковое тепло заходящего солнца.

В этой идиллической атмосфере он познакомился с первыми статьями Герцена, появившимися в «Колоколе», озаглавленными «Концы и начала» и написанными в форме открытых писем к Тургеневу. Восхищаясь благородными идеями Герцена, Тургенев не мог более одобрять новую панславистскую ориентацию своего друга, который критиковал мелочную и меркантильную цивилизацию Западной Европы и прославлял прадедовские ценности русского народа, единственно способного, по его

мнению, спасти человечество от краха. Бакунин и Огарев высмеяли взгляды Герцена. Возрождающая миссия русского народа была для них очевидной, и они нападали на тех, кто, как Тургенев, верил еще в просветительские добродетели Запада. Они обвиняли его в том, что из-за усталости, лени, «эпикуреизма» или, может быть, своего возраста он отдалился от них. Задетый за живое, Тургенев отвечал Герцену, что его приверженность западным принципам и учреждениям отнюдь не была знаком старости: «Мне было бы двадцать пять лет – я бы не поступил иначе – не столько для собственной пользы, сколько для пользы народа». (Письмо от 26 сентября (8) октября 1862 года.) Он начал писать ответ на статьи «Колокола», однако попросил Герцена опубликовать его без имени автора, чтобы избежать преследований. Он не закончил работу, когда получил от русских властей официозное предостережение, предписывавшее избегать всякого сотрудничества в мятежном журнале. Он не пожелал из осторожности скомпрометировать себя еще раз и ограничился тем, что показал Герцену несколько страничек, которые уже написал. Он отказался равно подписать подготовленный Огаревым и одобренный Герценом и Бакуниным «Адрес Александру II», касавшийся нового положения крестьян. Он видел в этом неверный шаг, который мог обернуться против его авторов и скандально деформировал демократические идеи. «Главное наше несогласие с О<<гаревым>> и Г<<ерценом>> – а также с Бакуниным – состоит именно в том, что они, презирая и чуть не топча в грязь образованный класс в России, предполагают революционные или реформаторские начала в *народе,* – писал он Лугинину, – на деле же это – совсем наоборот. Революция в истинном и живом значении этого слова <<…>> существует *только* в меньшинстве образованного класса – и этого достаточно для ее торжества, если мы только самих себя истреблять не будем». (Письмо от 26 сентября (8) октября 1862 года.) А в письме к Герцену пояснял: «Огареву я не сочувствую, во 1-х) потому, что в своих статьях, письмах и разговорах он проповедует старинные социалистические теории об общей собственности и т. д., с которыми я не согласен; во 2-х) потому, что он в вопросе освобождения крестьян и тому подобных – показал значительное непонимание народной жизни и современных ее потребностей». (Письмо от 21 ноября (3) декабря 1862 года.) Несмотря на расхождения во взглядах с Тургеневым, Бакунин был признателен ему за обращение к властям для того, чтобы разрешить его жене, которую задерживали еще в Сибири, выехать к нему за границу. «Ты единственный из оппозиционного лагеря, кто остался нашим другом, – писал ему он, – с тобой одним мы можем говорить с

открытым сердцем». (Письмо от 23 сентября 1862 года.) Но с Лугининым он поделился своей тайной мыслью: «Тургенев – талантливый литератор, прекрасный человек, но в политике он – шут». (Письмо от 8 (20) октября 1862 года.)

Отвергнутый русскими друзьями Тургенев еще больше сблизился с семейством Виардо. Полина, ее муж, ее дети были его семьей и почти частью его жизни. Весной 1863 года он нанял комнату в Баден-Бадене и обосновался там вместе с дочерью и ее гувернанткой мадам Иннис. Для него этот немецкий городок был вторым Куртавнелем, ибо Полина выбрала его своим местом жительства. Каждый уголок его был связан с этой женщиной. Совместные прогулки по аллеям парка, оживленные разговоры с гостями, музыкальные вечера или чтение вслух и периодическая работа над повестью «Призраки», давно обещанной Достоевскому. Эти разнообразные занятия рождали в Тургеневе редкое ощущение полноты жизни. Луи Виардо был не только желанным собеседником и веселым собратом по охоте. Этот утонченный, эрудированный человек страстно любил литературу. С ним Тургенев переводил на французский язык сочинения Гоголя, Пушкина, некоторые свои произведения. Он уважал его и любил, не разделяя тем не менее всех его взглядов на искусство. Рядом с мужем и женой он обрел двусмысленный комфорт, обманчивый покой, которые заменяли ему счастье. Однако даже в Баден-Бадене он не смог укрыться от забот. В конце предыдущего года на австро-итальянской границе был арестован посланник Герцена, который доставлял подпольные издания и письма от лондонских эмигрантов к сочувствующим им в России. Имя Тургенева в этой переписке часто упоминалось. По приказу правительства он был привлечен по процессу «лондонских пропагандистов», так называемому «делу тридцати двух». Ему надлежало явиться в сенатскую комиссию в Санкт-Петербург, чтобы ответить за свои связи с революционными кругами. Он последовал совету посла России в Париже Брудберга и написал прямо императору, чтобы заявить о своей непричастности. «Я не считал себя заслуживающим подобный знак недоверия. Образа мыслей своих я никогда не скрывал, деятельность моя, вся моя жизнь известны и доступны каждому, но предосудительных поступков я за собою не знаю» (Письмо от 22 января (3) февраля 1863 года.) И в самом деле, не абсурдно ли упрекать его в дружбе с политическими изгнанниками в то время, как они оттолкнули его как отсталого либерала? «Вызвать меня теперь <<в Сенат>>, после „Отцов и детей“, – писал Тургенев Анненкову, – после бранчливых статей молодого поколения, именно теперь, когда я окончательно – чуть не публично – разошелся с

лондонскими изгнанниками, т. е. с их образом мыслей, – это совершенно непонятный факт». (Письмо от 7 (19) января 1863 года.) В самом деле, он постоянно находился на развилке дорог: был близок к заговорщикам – экстремистам, но не был тем не менее революционером; русский до мозга костей, он находил удовольствие только в жизни за границей; он двадцать лет любил одну женщину и жил рядом с ней, не надеясь ни на что другое, кроме добрых слов. Он находился на стыке двух мировоззрений, двух стран, двух судеб. Он страдал от этого бесконечного раскола и в то же время находил мрачное наслаждение в нем. В своем письме к императору он ссылался на плохое здоровье, чтобы не ехать в Россию, и просил позволения выслать ему анкету, которая позволила бы оправдать себя. Сразу же по ее получении он принялся отвечать на вопросы пункт за пунктом, серьезно и обстоятельно. Из этих объяснений следовало, что он дружил с Бакуниным и Герценом в юности, тогда, когда эти люди еще не были революционерами, что в дальнейшем сохранил уважение к ним, но что в течение ряда лет не разделяет их политические взгляды. Чтобы проучить его, Герцен поместил в «Колоколе» анекдот об авторе «Отцов и детей», виновном, по его мнению, в том, что насмехался над так называемыми репрессиями русской армии в Польше. Возмущенный Тургенев написал ему, чтобы попросить опубликовать опровержение: «Меня глубоко оскорбляет эта грязь, – писал он Герцену, – которой брызнули в мою уединенную, почти под землей сокрытую жизнь. < < … > > Наши мнения слишком расходятся – к чему бесплодно дразнить друг друга? Я и теперь не предлагаю тебе возобновления этой переписки». (Письмо от 10 (22) июля 1863 года.)

Несмотря на его уверения в лояльности, комиссия Сената отказалась принять их и отправила ему новое приглашение на «дело тридцати двух». Не подчинившись этому предписанию, он рисковал конфискацией всего своего состояния в России. Отступать было невозможно. Над Баден-Баденом тем временем тоже нависли тучи. Полинетта поссорилась с Полиной Виардо. Тургенев отправил дочь в Париж и доверил своей подруге – весьма известной в литературных кругах мадам Делессер – заботу о поисках для нее мужа. Наконец, отправился в дорогу и сам.

Он волновался не столько за то, что ожидало его в Петербурге, сколько за то, что оставлял в Баден-Бадене. Казалось, что его силой отрывали от его настоящей судьбы. По приезде в Берлин он написал Полине Виардо: «Сейчас четверть восьмого вечера, дорогая госпожа Виардо; в эту минуту вы все собрались в гостиной. Вы музицируете, Виардо дремлет у камина, дети рисуют, а я, сердце которого осталось в этой столь любимой

гостиной, собираюсь поспать еще немного… Мне кажется, что я вижу сон: не могу привыкнуть к мысли, что я уже так далеко от Бадена, люди и предметы проходят передо мной, как будто бы вовсе меня не касаясь». (Письмо от 2 (14) января 1864 года.) Добравшись до цели своего путешествия, он вновь написал ей: «Баден, увы – нет! Санкт-Петербург, понедельник 6 (18) января 1864 года. Дорогая и добрая госпожа Виардо, моя рука, надписывая наверху страницы это милое название Баден, выдала мои постоянные мысли… Но я даже слишком в Петербурге!» (Письмо от 6 (18) января 1864 года.)

На следующий день он отправился в Сенат и был приглашен в просторный зал, где заседали шесть старых чиновников в мундирах, увешанных орденами. «Меня продержали стоя в течение часа, – рассказывал он. – Мне прочитали ответы, посланные мною. Меня спросили, не имею ли я чего-нибудь прибавить – потом меня отпустили, предложив явиться в понедельник на очную ставку с другим господином. – Все были очень вежливы и очень молчаливы, что является отличным знаком». На следующей встрече ему предложили дать дополнительные разъяснения письменно в реестре. Очной ставки не было. Члены комиссии были любезны. Явно они предпочитали иметь дело не с нарушителем общественного порядка, а с большим писателем, к которому благоволил сам император. «Судьи меня даже не допрашивали, – писал он Полине Виардо. – Они предпочли поболтать со мной о том, о сем». (Письмо от 13 (25) января 1864 года.) Наконец 28 января 1864 года Тургенев получил разрешение вновь выехать за границу. Герцен в «Колоколе» тотчас приписал снисходительность судей постыдному раскаянию обвиняемого. В своей статье он намекал на «одну седовласую Магдалину (мужского рода), писавшую государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучась, что государь еще не знает о постигнувшем ее раскаянии, в силу которого она прервала все связи с друзьями юности». («Колокол», лист 177.)

Оскорбление задело Тургенева. Несколько недель спустя он напишет Герцену: «Что Бакунин, занявший у меня деньги и своей бабьей болтовней и легкомыслием поставивший меня в неприятнейшее положение <<…>>– это в порядке вещей – и я, зная его с давних пор, другого от него не ожидал. Но я не полагал, что ты точно так же пустишь грязью в человека, которого знал чуть не двадцать лет, потому только, что он разошелся с тобою в убежденьях. <<…>> Если б я мог показать тебе ответы, которые я написал на присланные вопросы – ты бы, вероятно, убедился – что, ничего не скрывая, я не только не

оскорбил никого из друзей своих, но и не думал от них отрекаться: я бы почел это недостойным самого себя. Признаюсь, не без некоторой гордости вспоминаю я эти ответы». (Письмо от 21 марта (2) апреля 1864 года.)

Тем временем, чтобы забыть презрение, в котором держали его старые друзья-эмигранты, он с головой окунулся в светскую жизнь столицы. Обедал с Анненковым и Боткиным, встречался со своей дорогой госпожой Ламберт, ставшей еще более набожной, чем раньше; бывал на вечерах в Опере, на концертах под управлением Рубинштейна, на заседаниях «Общества вспоможения нуждающимся литераторам», на приеме в итальянском посольстве, на балу в Дворянском собрании в присутствии императора. «Видел государя и нахожу, что он превосходно выглядит», – напишет он Полине Виардо. (Письмо от 6 (18) февраля 1864 года.) Он поучаствовал также в банкетах литераторов, во время которых рассказал о своих связях с западными писателями, нашел издателя для романсов, написанных Полиной Виардо, помирился с Гончаровым и прочитал свою повесть «Призраки» в новом журнале Достоевского «Время», предшественник которого «Эпоха» был запрещен властями. В этой повести, совершенно фантастической, он проповедует философию, очень близкую философии Шопенгауэра: высшей безучастности природы, бесполезности всякой человеческой деятельности, недолговечности, тщетности произведений искусства, отвращения к самому себе. Что касается идеи птичьего полета на большой высоте, то она преследовала его со времени той мечты о левитации, о которой он в 1849 году рассказал Полине Виардо. «Мне стало скучно, – читаем мы в „Призраках“, – хуже, чем скучно. Даже жалости я не ощущал к своим собратьям: все чувства во мне потонули в одном, которое я назвать едва дерзаю: в чувстве отвращения, и сильнее всего, и более всего во мне было отвращение – к самому себе». Этот двойной аспект – ирреальности и горького пессимизма – смутил друзей и критиков. М. А. Антонович в «Современнике» посчитал, что повесть была сделана наспех и производила впечатление неопределенное. Д.И. Писарев в «Русском слове» назвал ее «пустяком», другие решили, что писатель выдает остатки и что талант автора стал значительно ниже. Что касается Достоевского, то, лицемерно похвалив Тургенева и порадовавшись публикации текста в первом номере «Эпохи», он написал брату Михаилу: «По-моему, в них много дряни: что-то гаденькое, больное, старческое, неверующее от бессилия, одним словом, весь Тургенев с его убеждениями, но поэзия много выкупит». (Письмо от 26 марта 1864 года.) А Тургенев доверительно писал Полине Виардо:

«Друзья мои немного испуганы и шепчут слово: „нелепость“!» (Письмо от 19 (31) января 1864 года.)

С некоторых пор ему стало казаться, что в России ему делать больше нечего. «Не могу сказать вам, до какой степени постоянно я думаю о вас, – писал он вновь Полине Виардо. – Мое сердце буквально тает от умиления, едва ваш милый образ – не скажу: является мне мысленно – потому что он никогда не покидает меня – но как будто приближается ко мне». (Письмо от 24 января (5) февраля 1864 года.) В конце февраля он выехал в Баден-Баден. Оттуда отправился в Париж, чтобы повидаться с дочерью, которой госпожа Делессер активно подыскивала мужа. Полинетта только что отказала некоему Пине. «Я никогда не желал для тебя другого брака, кроме брака по любви, – скажет ей отец, – а когда ее нет – все остальное не имеет значения. Вот еще один павший претендент: не будем больше об этом говорить». (Письмо от 3 (15) марта 1864 года.)

Тем временем он узнал, что процесс «тридцати двух» закончился в Петербурге и он был объявлен непричастным к делу, тогда как людям едва ли более виновным, чем он, был вынесен тяжелый приговор. Некоторые подозреваемые были даже осуждены на каторжные работы в Сибири. Тургенев был счастлив оттого, что так легко отделался, и в то же время опечален тем, что другим не повезло. Отныне его разрыв с лондонскими эмигрантами был окончательным. Он страдал от этого, ибо любил быть любимым. Утешить его в его отчаянии могла лишь работа. Рядом с Полинеттой и ее гувернанткой мадам Иннис он в два дня написал повесть «Собака» и принялся за «Речь о Шекспире». После чего отправился в Баден-Баден, куда его влекла неотразимая Полина Виардо. Однако он хотел видеть не только ее, но и ее семью, мужа, детей. Вдали от них он уже не был самим собой, он терял время. Ему хотелось укрыться в их тени. Он купил участок земли рядом с виллой семейства Виардо и решил построить себе дом в стиле Людовика XIII с башенками, шиферной крышей, широкими светлыми комнатами, театральной залой, застекленными дверями и полукруглой террасой. Строительство предполагалось закончить за три года. Предполагаемая сумма расходов – 50 тысяч франков – устраивала. Чтобы уложиться в нее, Тургенев приказал дяде Николаю – управляющему Спасским – продать как можно быстрее и по любой цене земли. Таким образом, он жертвовал русскими корнями ради любви к Полине Виардо. Он с радостью в сердце расставался с полями, лесами, где мечтал в детстве, в юности, по которым когда-то бродил с ружьем за плечами, чтобы свить себе «гнездо» в Германии. Графине Ламберт, которая упрекала его за

то, что покидал родину, Тургенев горячо возражал: «Нет никакой необходимости писателю непременно жить в своей родине и стараться улавливать видоизменения ее жизни – во всяком случае нет необходимости делать это постоянно. < < … > > Словом, я не вижу причины, почему мне не поселиться в Бадене: я это делаю не из желания наслаждений (это тоже удел молодости) – а просто для того, чтобы свить себе гнездышко, в котором буду дожидаться, пока не наступит неизбежный конец». (Письмо от 22 августа (3) сентября 1864 года.) Графиня Ламберт упрекала его и в том, что он не был истинно верующим, и здесь Тургенев признавал ее правоту: «Я не христианин в Вашем смысле, да, пожалуй, и ни в каком». (Там же.)

Провозглашая себя свободомыслящим человеком, он тем не менее строго придерживался семейных традиций, буржуазной респектабельности. Он обрадовался, узнав, что благодаря стараниям мадам Делессер Полинетта, наконец, нашла себе жениха по вкусу, месье Гастона Брюэра, управляющего стекольным заводом в Ружемоне. Чтобы дать приданое дочери, Тургенев обратился к помощи семейства Виардо, которое одолжило ему необходимую сумму. Затем он отправился в Париж, чтобы присутствовать при подготовке к свадьбе. «Я здесь как в котле киплю, – писал он Анненкову, – нотариусы меня доехали, тем более что и отец моего будущего зятя – экс-нотариус». (Письмо от 26 января (7) февраля 1865 года.)

Свадьба состоялась 25 февраля 1865 года. В тот же день после церемонии Тургенев отправился в Баден-Баден, где должен был присматривать за строительством дома. Этот дом стоил ему гораздо дороже, чем он предполагал. Он вынужден был несколько раз занимать деньги, чтобы оплачивать счета. Финансовые проблемы отвлекали его от работы. Тем не менее он написал повесть «Довольно», которую переправил в Санкт-Петербург. Еще более пессимистичная, чем «Призраки», повесть не понравилась читателям и возмутила критиков. «Книжный вестник» упрекал автора в безразличии, безнадежной усталости и советовал ему уйти с литературной арены. Шелгунов в журнале «Творчество» напишет позднее: «С момента освобождения крестьян Тургенев умер и перестал служить тому, чему он с девятнадцати лет дал клятву служить».

Тургеневу, которого бойкотировала публика, кусали журналисты, казалось, что он с трудом удерживает свою репутацию. Тем не менее хватило смелости взяться за большой роман «Дым». Он работал над ним медленно, с перерывами. Много времени занимала переписка с друзьями из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые из них навестили его в Баден-

Бадене. Он встретил Анненкова, Боткина, Гончарова. Конечно, он был в курсе всего, что публиковалось в России. Его оценки были строгими. «1805 год» – первая часть «Войны и мира» Толстого разочаровала его: «Роман этот мне кажется положительно плох, скучен и неудачен». (Письмо к И.П. Борисову от 16 (28) марта 1865 года.) Он не получил удовольствия и от чтения «Преступления и наказания» Достоевского: «Это что-то вроде продолжительной колики – в холерное время, помилуй Бог!» – писал он тому же Борисову. (Письмо от 30 сентября (12) октября 1866 года.)

Тем не менее, несмотря на безденежье, Тургенев выслал 50 талеров тому же Достоевскому, который окончательно проигрался в карты в Висбадене и звал его на помощь. По правде говоря, эта горячность, этот беспорядочный образ жизни, это безрассудство, которые он открывал в некоторых своих соотечественниках, были чужды ему. Он гневно возмутился, узнав о покушении 4 апреля на царя некоего Каракозова. Пуля чудом не сразила государя. Руку убийцы нечаянным жестом оттолкнул крестьянин Комиссаров. Россия была потрясена. Русские за границей тоже возмущались, расспрашивали друг друга, предвидели трагические последствия. Тургенев вместе со всеми русскими Баден-Бадена присутствовал на благоденственном молебне: «На этот раз не было разногласия: все чувства слились в одно. Нельзя не содрогнуться при мысли, что бы сталось с Россией, если б это злодейство удалось». (Письмо к Анненкову от 6 (18) апреля 1866 года.) Шесть дней спустя он попросил своего корреспондента прислать ему фотографию Комиссарова, который отвел выстрел, предназначенный государю, и объявлял ему, что одобряет поздравительное послание, адресованное суверену «Обществом вспоможения нуждающимся литераторам». «Нужно, конечно, не для нас, а для многих недоброхотов, чтобы в литературе высказалось отвращение к безобразному поступку этого человека, которого я никак не могу признать за русского». (Письмо от 12 (24) апреля 1866 года.)

Тревога пережита, он возвратился к своим привычным развлечениям. Полина Виардо основала в Баден-Бадене музыкальный центр. Она давала уроки пения молодым особам из хорошего общества и ставила на сцене оперетты собственного сочинения. Отложив свой большой роман, Тургенев с радостью подчинился капризам Полины и написал для нее несколько легких либретто: «Последний колдун», «Оргия», «Слишком много жен». Труппа состояла из учеников хозяйки дома. Тургенев сам поднимался при случае на подмостки. Эта тщетная суета молодила его. Он играл, смешил, принимал аплодисменты. Но не

за свои книги на этот раз. Публика была избранной. Здесь видели иногда короля и королеву Пруссии, герцога и герцогиню Баденских, принцесс и принцев, именитых иностранцев…

Когда строительство дома было закончено, у Тургенева не оказалось достаточно денег на его обустройство. Дом стоял необитаемым до тех пор, пока он не получил необходимую сумму из России. Как только он устроился у себя, спектакли стали играть у него, в театральной зале, которую он придумал на радость и во славу Полины. Его чувства к ней были незыблемыми. В феврале он с сожалением расстался с ней, чтобы съездить в Россию, где дела его имения, казалось ему, плохо велись дядей Николаем Тургеневым.

Управление имениями он доверил в Спасском Кишинскому, что очень возмутило дядю Николая, который заперся в своей комнате и пересылал ему через слугу «безрассудные письма». Тургенев привез с собой рукопись романа «Дым» и две повести – «Лейтенант Ергунов» и «Бригадир». В Санкт-Петербурге, затем в Москве он прочитал свои последние произведения друзьям и получил их горячее одобрение. Однако были ли они искренними? Его предыдущие книги были так плохо приняты прессой, что он боялся публиковать новые. А ему, между тем, были нужны деньги. Чтобы поправить свое финансовое положение, он был вынужден, по его собственным словам, «первые два года подстегивать свою Музу – благо литература приносит еще доход». (Письмо к Полине Виардо от 22 марта (3) апреля 1867 года.)

4 апреля 1867 года он выехал в Баден-Баден, чувствуя, что возвращается на родину. Восемь дней спустя «Русский вестник» опубликовал «Дым». Тургенев был доволен тем, что в это время находился далеко от России. Расстояние, думал он, смягчит удары его врагов.

Глава IX
«Дым»

Сентиментальная интрига романа «Дым» была похожа на интригу «Дворянского гнезда». Герой этого нового романа Литвинов – такой же нерешительный, склонный к сомнениям Гамлет. Он живет в Баден-Бадене со своей невестой, скромной Татьяной, и ее теткой Капитолиной Шестовой. Волею случая он встретил там молодую красивую женщину – своенравную, пылкую Ирину, в которую когда-то был страстно влюблен и собирался на ней жениться. Однако после первых успехов в свете Ирина оставила его, сделав блестящий выбор. В Баден-Бадене со своим мужем – общительным, изысканным тщеславным генералом – она правит маленьким русским обществом городка. Увидев Литвинова, она лелеет единственную мысль – вновь покорить его, и он уступает, прекрасно сознавая, что вернувшаяся любовь к капризной легкомысленной Ирине закончится неудачей. Он оставляет невесту и предлагает Ирине бежать с ним. В последнюю минуту, разрушив во второй раз жизнь Литвинова, она отказывает ему, решив остаться с мужем. Из вагона поезда, который должен вернуть его в Россию, «закостеневший от горя» Литвинов смотрит на паровозный дым, клубящийся по перрону станции. «Он сидел один в вагоне, – пишет Тургенев. – Никто не мешал ему. „Дым. Дым“, – повторил он несколько раз, и все вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь – все русское, особенно все русское. „Все дым и пар, – подумал он, – все будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же и то же, все торопится, спешит куда-то и исчезает бесследно, ничего не достигая“. Несколько лет спустя, осознав ошибку, раскаявшийся Литвинов находит свою бывшую невесту и женится на ней. Что касается Ирины, то она продолжает вести светскую жизнь. Богатая, осыпанная похвалами и несчастная, она отвергнута высшими лицами общества из-за своего положения. Даже молодые люди отдаляются от нее, опасаясь ее „озлобленного ума“».

Однако «Дым» не сводился к истории о любовной неудаче. Роман содержал двойную сатиру. Сатиру на высокомерных и никчемных генералов, которые составляли окружение Ирины; и сатиру на старых друзей автора. В сознании Тургенева это пронизанное ностальгией и вместе с тем желчное произведение было прямым ответом Герцену и всем тем молодым людям, которые презирали европейскую культуру и упивались

славянским мистицизмом. Они бранили его, а он отвечал иронично, страстно, что свидетельствовало о незрелости характера. В самом деле, этот вежливый и уступчивый человек, не наделенный мужеством от природы, не колеблясь, противостоял брани, вражде и опале ради того, чтобы остаться верным своим убеждениям. Борьба идей не пугала его. Он даже при случае искал ее. В «Дыме» некто Потугин злобно нападает на тех, кто упрекал его за то, что привольно чувствовал себя за границей: «Я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, скверную, дорогую родину. Я вот теперь ее покинул: нужно было проветриться немного; я покинул Россию, и здесь мне очень приятно и весело; но я скоро назад поеду, я это чувствую». Кроме того, тот же Потугин высмеивает русское искусство, русское высокомерие, русскую отсталость во всем. Конечно, Тургенев не подписывался под всеми взглядами Потугина. Однако его любовь к Западу делала его в какой-то степени причастным к его герою. Даже тогда, когда он называл себя русским до кончиков ногтей, в нем жил европейский дух.

Он ожидал бурных выступлений против своей книги в России. Они превзошли все его ожидания. Консервативные круги возмутились недоброжелательным описанием высшего общества, славянофилы упрекали его за дискредитацию родины, революционеры отнеслись к нему как к старому болтуну, который не способен понять значение молодой русской силы. Герцен, которому он отправил свой роман, приветствовал его ядовитой статьей в «Колоколе»: «Этому бедному Ивану Сергеевичу очень уж было необходимо напустить столько дыма? Природа наделила его разного рода талантами: он может рассказывать об охоте, умеет своим пером стрелять по разным тетеревам и глухарям, живущим в „дворянских гнездах“ и в „затерянных уголках“. Однако „нет, – говорит он, – я должен быть жестоким, злым, ядовитым публицистом“. Но в прекрасном сердце нет ни яда, ни злобы». А Тургеневу написал: «Я искренне признаюсь, что твой Потугин мне надоел. Зачем ты не забыл половину его болтанья». Уязвленный Тургенев ответил: «Тебе наскучил – *Потугин,* и ты сожалеешь, что я не выкинул половину его речей. Но представь: я нахожу, что он еще не довольно говорит, – и в этом мнении утверждает меня всеобщая ярость, которую возбудило против меня это лицо». (Письмо от 10 (22) мая 1867 года.) А молодому критику Писареву признавался: «Быть может, мне одному это лицо дорого; но я радуюсь тому, что оно появилось, что его наповал ругают в самое время этого всеславянского опьянения, которому предаются именно теперь, у нас. Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить слово: „цивилизация“ – на моем знамени, – и пусть в

него швыряют грязью со всех сторон». (Письмо от 23 мая (4) июня 1867 года.) В правительственной прессе Тургенева обвиняли за то, что «оскорбил национальное чувство», что был «клеветником» и «лжецом», в том, что ничего не знал о России. «Знаю, что меня ругают все – и красные, и белые, и сверху, и снизу – и сбоку – и особенно сбоку. Даже негодующие стихи появились. Но я что-то не конфужусь». (Письмо к Герцену от 23 мая (4) июня 1867 года.) Некоторые критики сочли, что полемические дискуссии вредили сентиментальной интриге между Литвиновым и Ириной. Другие посчитали, что писатель выдохся и что его новый роман возвращался к эстетике сороковых годов.

Среди хулителей «Дыма» одним из самых непримиримых был Достоевский. В течение длительного времени он вынашивал болезненную неприязнь к Тургеневу. Он не мог выносить безвкусной любезности, вежливой снисходительности этого высокого, вялого (мягкого) барина. Чтение «Дыма» оскорбило его патриотические чувства. Однако он не забыл, что был должен пятьдесят талеров писателю. Будучи проездом в Баден-Бадене, он решил по совету жены нанести визит Тургеневу. Однако не для того, чтобы вернуть ему долг – он окончательно проигрался в рулетку, – а чтобы сказать, что рассчитывает вернуть его в ближайшие дни. С самого начала встречи разгорелся спор. «Он объявил мне, что он окончательный атеист. Но, боже мой: деизм нам дал Христа, – напишет Достоевский своему другу Майкову, – т. е. до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный! А что же они-то – Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские – нам представили? << … >> Они до того пакостно самолюбивы, до того бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно: на что они надеются и кто за ними пойдет?» Что особенно раздражало Достоевского, так это, говорил он, подчеркнутое презрение Тургенева к России. «<<Он>> говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога и неминуемая, – это цивилизация и что все попытки руссизма и самостоятельности – свинство и глупость. Он говорил, что пишет большую статью на всех русофилов и славянофилов. Я посоветовал ему, для удобства, выписать из Парижа телескоп. „Для чего?“ – спросил он. „Отсюда далеко, – отвечал я. – Вы наведете на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то право разглядеть трудно“. Он ужасно рассердился. Видя его таким раздраженным, я действительно с чрезвычайно удавшеюся наивностью сказал ему: – „А ведь я не ожидал, что все эти критики на вас и неуспех „Дыма“ до такой степени раздражают вас; ей богу, не стоит того, плюньте на все“. –

„Да я вовсе не раздражен, что вы“, – и покраснел». Достоевский добавлял: «Но, ей богу, я не в силах: он слишком оскорбил меня своими убеждениями. <<…>> Но нельзя же слушать такие ругательства на Россию, от русского изменника, который мог бы быть полезен. Его ползанье перед немцами и ненависть к русским я заметил давно. Но теперешнее раздражение и остервенение до пены у рта на Россию происходят единственно от неуспеха „Дыма“ и что Россия осмелилась не признать его гением. Тут одно самолюбие, и это тем пакостнее». (Письмо от 16 августа 1867 года.)

Мужчины холодно расстались. Достоевский вернулся к себе, довольный тем, что столкнул в грязь этого знатного барина, утратившего связь с родиной. Вне всякого сомнения, в своем докладе Майкову он ради забавы преувеличивал антирусские речи Тургенева. Тургенев, равно раздраженный упрямо славянофильской, подчеркнуто православной и мессианской позицией Достоевского, позволил себе увлечься желанием противоречить ему на каждом слове. Как бы там ни было, письмо к Майкову получило в России досадную огласку. Некоторые его пассажи были переписаны адресатом и переданы Бартеневу, редактору журнала «Русская старина», с предложением «сохранить документ для потомков». Поднятый по тревоге Анненковым, Тургенев написал Бартеневу письмо-протест: «Я вынужденным нахожусь объявить с своей стороны, что выражать свои задушевные убеждения перед г. Достоевским я уже потому полагал бы неуместным, что считаю его за человека, вследствие болезненных припадков и других причин, не вполне обладающего умственными способностями; впрочем, это мнение мое разделяется многими другими лицами. Виделся я с г-ном Достоевским, как уже сказано, всего один раз. Он высидел у меня не более часа и, облегчив свое сердце жестокою бранью против немцев, против меня и против моей последней книги, удалился. <<…>> Я, повторяю, обращался с ним, как с больным. Вероятно, расстроенному его воображению представились те доводы, которые он предполагал услыхать от меня, и он написал на меня свое… донесение потомству. Не подлежит сомнению, что в 1890 году и г-н Достоевский, и я – мы оба не будем обращать на себя внимание соотечественников; а если мы и не будем совершенно забыты, то судить о нас станут не по односторонним изветам, а по результатам целой жизни и деятельности». (Письмо от 22 декабря (3) января 1868 года.)

Даже близкие друзья Тургенева не одобрили обвинения, содержащегося в «Дыме». Дорогой Фет, собрат по охоте и фантазиям, писал Толстому: «Читали ли вы пресловутый „Дым“?

<<…>> <<Он. – **А.Т.**>> состоит из брани всего русского, в минуту, когда в России все стараются быть русскими. В России – где все глупо и гадко и надо *все* гнуть насильно на иностранный манер». (Письмо от 15 (27) июня 1867 года.) А Толстой, обрадовавшись такому поражению собрата, ответил: «Я про „Дым“ думаю то, что сила поэзии лежит в любви – направление этой силы зависит от характера. Без силы любви нет поэзии. <<…>> В „Дыме“ нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому, и игривому, и потому поэзия этой повести противна». (Письмо от 28 июня (10) июля 1867 года.) Русские, жившие в Германии, равно сдержанно встречали автора «Дыма». «Со времени появления „Дыма“, – писал Тургенев Борисову, – здешние магнаты из россиян на охоту более не приглашают». (Письмо от 28 октября (9) ноября 1867 года.)

Несмотря на критику, которая прорвалась со всех сторон, Тургенев оставался непоколебимым. «Что „Дым“ Вам не понравился – это очень не удивительно, – писал он Фету. – Вот бы я удивился, если б он Вам понравился! Впрочем, он почти никому не нравится. И представьте себе, что мне совершенно все равно – и нет такого выеденного яйца, которого я бы не пожалел за Ваше одобрение. Представьте, что я уверен, что это – единственно дельная и полезная вещь, которую я написал!» (Письмо от 26 июля (7) августа 1867 года.)

Он предполагал даже написать предисловие к своему роману, чтобы еще раз подтвердить свои европейские убеждения. «<<Я>> еще сильнее буду доказывать, – писал он, – необходимость нам, русским, по-прежнему учиться у немцев, – как немцы учились у римлян и т. д.» (Письмо к Борисову от 16 (28) июня 1867 года.)

На самом же деле этот столь резко встреченный критикой роман был сильным, смелым и в то же время грустным произведением. Описание действующих лиц и пейзажей было фотографически точным. Политические и эстетические дискуссии искусно чередовались с перипетиями интриги. Заключение книги рождало в сознании читателей сложное чувство ностальгии, беспокойства и пессимизма. Их тоже как будто окутывал дым. Тургенев не ошибся, утверждая, что написал один из лучших своих романов.

Перед лицом бесчисленных нападений он чувствовал, что был лучше оценен, больше любим за границей, нежели на своей родине. Его произведения переводили во Франции, Англии, Германии, его хвалили в литературных кругах Парижа, в то время как в Санкт-Петербурге и Москве не переставали терзать. В самом

деле, он принадлежал двум мирам. В одном были молодые русские писатели-прогрессисты и славянофилы, язвительные статьи в газетах, неприятные споры с дядей Николаем, денежные заботы из-за неумелого управления имениями. В другом – преклонение перед Полиной Виардо, счастье видеть ее глаза и слышать ее голос, немецкие покой и чистота, зеленеющие холмы, космополитическая атмосфера, роскошная, лишенная эмоций, – рай для влюбленного холостяка, страдающего подагрой. Зачем им нужно, чтобы он отказался от своего европейского счастья ради русской суеты? Его ли вина в том, что он был человеком неоднозначным? Не совсем революционер и не совсем консерватор, не совсем русский и не совсем европеец, не совсем любовник и не совсем друг. Его соотечественники не могли понять его, и эта неясность раздражала их, как предательство одним из самых больших писателей по отношению к родной земле. Лишь он один сознавал, что никогда не был более русским, чем с пером в руках за границами своей родины.

Он был потрясен, когда узнал, что 6 марта 1867 года царь Александр II стал жертвой покушения во время визита в Париж. К счастью, пуля не достигла цели. Виновный – молодой поляк, беженец, был застигнут на месте преступления. Это упрямое желание убить святейшего суверена представлялось Тургеневу следствием дикого фанатизма. 31 мая он счел необходимым вместе с другими русскими поехать на вокзал Баден-Бадена, чтобы поприветствовать императора, который возвращался в Россию. «Государь сегодня здесь проехал, мы все ходили встречать его на железной дороге, – писал Тургенев своему другу Писемскому. – На мои глаза, он очень похудел. – Экое гнусное безобразие, этот парижско-польский выстрел!» (Письмо от 31 мая (12) июня 1867 года.)

Несколько дней спустя он сам был в Париже для того, чтобы увидеться с Полинеттой и посетить международную выставку. Русский павильон разочаровал его: «Собственно о нашей я говорить не буду: опять закричат, что я не патриот», – писал он Анненкову. Что касается остального, то размах и широта проявления международной дружбы воодушевили его. «Я приходил в телячий восторг от выставки, которая решительно – единственная и удивительная вещь. < < … > > Это в своем роде – chef-d'œuvre[25]»(Письмо от 16 (28) июня 1867 года.) Определенно, именно в сопоставлении мировых цивилизаций он чувствовал себя всего лучше.

Тем не менее в этом и следующем году он несколько раз вернется в Россию, чтобы встретиться с друзьями, продать земли и пожить деревенской жизнью. Его крестьяне обманули его

ожидания. «Свобода не сделала их богаче – напротив», – писал он Полине Виардо. (Письмо от 17 (29) июня 1868 года.) Другой конец социальной лестницы – его отношения с литературными кругами показались ему еще более напряженными, чем в прошлом. «Я очень хорошо понимаю, что мое постоянное пребывание за границей вредит моей литературной деятельности – да так вредит, что, пожалуй, и совсем ее уничтожит: но и этого изменить нельзя», – делился Тургенев с Полонским. (Письмо от 27 февраля (11) марта 1869 года.) А несколько позднее признавался Жемчужникову: «Не совсем легко передать словами, до какой степени я нелюбим нынешним поколением. На каждом шагу приходилось невольно натыкаться на изъявления то ненависти, то даже презрения». (Письмо от 5 (17) июня 1870 года.)

Однако эта продолжавшаяся хула отнюдь не побудила его к смирению. Он не признавал себя побежденным перед собратьями, которых пресса принимала лучше. Самые заметные их произведения удовлетворяли его лишь наполовину. Ему не понравился «Обрыв» Гончарова, а о «Войне и мире» он говорил: «Много там прекрасного, но и уродства не оберешься! Беда, коли автодидакт, да еще во вкусе Толстого, возьмется философствовать: непременно оседлает какую-нибудь палочку, придумает какую-нибудь одну систему, которая, по-видимому, все разрешает очень просто, как например исторический фатализм, да и пошел писать! Там, где он касается земли, он, как Антей, снова получает все свои силы…» (Письмо к Анненкову от 13 (25) апреля 1868 года.)

У него же самого не было вдохновения, чтобы писать. Неоднозначный – скорее враждебный – прием читателями «Дыма» не вдохновлял его на создание нового большого романа. Он ограничился публикацией повестей «Несчастная», «Степной король Лир» и «Литературных и житейских воспоминаний». Увлечение его творчеством, интерес к нему самому, которых он, к сожалению, больше не находил в России, сместились во Францию, где круг знакомств среди писателей значительно расширился. Он был теперь в дружеских отношениях с Флобером, Сент-Бевом, Жорж Санд и некоторыми другими… Все французы видели в нем воплощение России, в то время как русские – отталкивали как перебежчика. В Париже у него было несколько встреч с тяжелобольным Герценом, и вскоре он узнал о его смерти. «Какие бы ни были разноречия в наших мнениях, – писал он Анненкову, – какие бы ни происходили между нами столкновения, все-таки старый товарищ, старый друг исчез: редеют, редеют наши ряды! <<…>> Вероятно, все в России

скажут, что Герцену следовало умереть ранее, что он себя пережил; но что значат эти слова, что значит так называемая наша деятельность перед этою немою пропастью, которая нас поглощает? Как будто бы жить и продолжать жить – не самая важная вещь для человека?» (Письмо от 10 (22) января 1870 года.)

В Париже также ему удалось благодаря приглашению Максима дю Кана поприсутствовать на «toilette»[26] и казни осужденного на смерть рабочего-механика Жана-Батиста Тропмана, виновного в смерти семьи из восьми человек. Это событие потрясло его, вызвав оцепенение и ужас. «Я не забуду этой страшной ночи, в течение которой „I have supp'd fullof horrors“[27] и получил окончательное омерзение к смертной казни вообще и к тому, как она совершается во Франции в особенности», – писал он Анненкову. (Там же.) В написанной по горячим следам статье «Казнь Тропмана» он рассказал в деталях о подготовке к исполнению смертного приговора. Его главным впечатлением было впечатление вины, которая должна заклеймить и казненного, и все общество. Это легальное убийство отозвалось в нем чувством стыда, забрызгало кровью. «Чувство какого-то моего мне не известного прегрешения, тайного стыда во мне постоянно усиливалось, – писал он. – Быть может, этому чувству должен я приписать то, что лошади, запряженные в фуры и спокойно жевавшие в торбах овес перед воротами тюрьмы, показались мне единственно невинными существами среди всех нас». (И.С.Тургенев. «Казнь Тропмана», июнь 1870 года.)

В который раз западный закон, по его мнению, изобличил себя как более варварский, чем закон русский. Грубо потрясенный тем, что увидел в тюрьме и на площади Рокетт, где возвышалась гильотина, он вернулся в Россию, но не нашел там желанного утешения. Времени хватило только для того, чтобы встретиться с несколькими друзьями, прочитать им свои последние произведения, продать 53 десятины земли, устроить для крестьян Спасского праздник; и он покинул вновь свою страну, чтобы вернуться в Баден-Баден.

Там Тургенев с радостью погрузился в теплый климат семейства Виардо, в атмосферу интеллектуальной дружбы с ее мужем, платонической любви к женщине и нежности к детям. Особенно к Клоди – дорогой малышке Диди, здоровье и непосредственность которой так радовали его. «Я положительно питаю обожание к этому очаровательному существу, такому чистому и грациозному, – писал он Полине Виардо, – я умиляюсь, когда образ ее встает перед моими глазами – и я надеюсь, что небо хранит для нее самое прекрасное счастье». (Письмо от 17 (29) июня 1868 года.)

Все дети Виардо были одарены. Марианна была талантливой музыкантшей. Клоди, кроме того, прекрасно рисовала. Полю, которому тогда было тринадцать лет, предстояла блестящая карьера скрипача с мировым именем. Уверенный в его большом будущем виртуоза, Тургенев подарил ему Страдивари. Луиза, старшая, ставшая в 1862 году госпожой Эритт[28], была превосходной пианисткой, имела хороший голос и собиралась выступать и преподавать пение. Однако, наделенная тяжелым характером, она с раннего детства не могла переносить постоянное присутствие Тургенева рядом с матерью. Вне всякого сомнения, ближе всех ему была Клоди. Он даже в глубине души восхищался ею, о чем свидетельствуют его письма. Она отвечала на его симпатию с беззаботным юношеским кокетством. И он наслаждался, как гурман, подобным противоречием, которое так хорошо знал в прошлом – между физиологическим притяжением и моральным запретом. Когда Клоди выйдет замуж, он даст ей значительное приданое. Юная женщина станет еще более притягательной. «А теперь, мадам, – напишет он ей, – представьте себе, что вы сидите на краю бильярда и что я стою перед вами; вы болтаете ножками, что случается довольно часто; я ловлю их, целую их одну за другой, потом целую твои руки, потом твое лицо, и ты позволяешь мне это, ибо знаешь, что нет человека в мире, которого я любил бы больше, чем тебя». (Письмо от 18 (30) июня 1877 года.)

Между тем очень скоро буколический мир в Баден-Бадене сменился атмосферой страха и растерянности. Жители взволнованы неожиданным объявлением войны между Францией и Пруссией. Тургенев узнал о событии в Берлине, на пути из России. Теперь он спрашивал себя, не окажется ли он, вернувшись в Германию, в волчьем логове. Вне всякого сомнения, страна будет разорена, залита кровью после первых же боев. Армия Наполеона III имела репутацию непобедимой. Бежать в Россию или в Англию, чтобы избежать опасности? Дочь Тургенева Полинетта (мадам Гастон Брюэр) умоляла его сделать это как можно быстрее, пока еще было время. Он с гордостью ответил ей: «Сообщение по железным дорогам прервано – взорвали Кельнский мост – распространился слух, что французы перешли Рейн – у нас здесь, вероятно, будет много раненых – но все это не основание для того, чтобы я покинул друзей и поспешил укрыться в безопасном месте. Я понимаю, что в первое мгновенье ты написала так, как ты написала – но, поразмыслив, ты увидишь, что честный человек не может поступить иначе, чем я решил поступить. Итак, – терпение, терпение и еще раз терпение. Я остаюсь здесь». (Письмо от 11 (23) июля 1870 года.)

Глава X
Война

Баден-Баден находился рядом с границей. Военная репутация французов уже в самом начале войны была такова, что Тургенев ожидал, что они форсируют Рейн. «Баден-Баден совершенно опустел, – писал он брату Николаю, – но я остаюсь здесь – и останусь, даже если б французы пришли: что они могут мне сделать?» (Письмо от 15 (7) июля 1870 года.) Пять дней спустя, посоветовавшись с семьей Виардо, он изменил мнение. И сообщал об этом знакомой госпоже Милютиной: «Мы на все готовы – и в случае нужды уедем в Вильдбад – в карете – так как все сообщения по железным дорогам прерваны. Я говорю „мы“ – т. е. семейство Виардо и я; я с ними не расстанусь».

Как и Виардо, Тургенев страстно выступал против наполеоновского режима и боялся, как бы победа французов не усилила деспотизм в Европе. Таким образом, несмотря на его расположение к стране Флобера и Жорж Санд, он желал успеха германской армии. Первые неудачи французов переполнили его радостью. Вдали гремели раскаты канонады, все окна в домах были закрыты. Дамы Баден-Бадена вязали жилеты для раненых. При каждом хорошем известии с фронта в городе звонили во все колокола. Тургенев писал Борисову: «Радуюсь поражению Франции – ибо вместе с нею поражается насмерть наполеоновская империя, существование которой несовместимо с развитием свободы в Европе». (Письмо от 12 (24) августа 1870 года.) И некоторое время спустя немецкому историку и философу Фридлендеру: «Нужно ли вам говорить, что я всей душой на стороне немцев. Это поистине война цивилизации с варварством <<…>>. С бонапартизмом *должно* быть покончено <<…>> Какой отвратительной, лживой, насквозь гнилой и ничтожной оказалась, однако, „великая нация“!». (Письмо от 17 (29) августа 1870 года.) Он сожалел о бомбардировке Страсбурга и радовался капитуляции Седана и захвату Наполеона III. «Это уже не события, а удары грома, следующие один за другим, не успеешь вздохнуть – уже оглушен! – писал Тургенев своему другу – немецкому писателю и художнику Людвигу Пичу. – Император в плену, 100 000 французов в плену, республика! – может быть, через несколько дней будет занят Париж, и Людвиг Пич триумфально въедет через l'Arc de l'Etoile[29]. <<…>> Но истинное счастье, что привелось быть свидетелем тому, как низвергнулся в клоаку этот жалкий негодяй (Наполеон III) со

своей кликой. Почему с этим молодцом обращаются так почтительно? Все, чего он заслуживает, – это отправиться на съедение вшам в Кайену». (Письмо от 28 августа (9) сентября 1870 года.)

Однако, поздравляя себя с поражением Наполеона, семейство Виардо страдало, видя свою залитую кровью родину. Кара должна была бы, думали они, обрушиться на императора, а не на народ. Слушая их, Тургенев теперь уже не знал: должен ли он превозносить могущество Германии или жалеть попранную Францию. Германия, которую он когда-то боготворил, была страной поэтов и ученых, сентиментальной, идиллической, мирной страной. Германия, которую он открывал сегодня, – воинственной, грубой, властной. Если он не любил Наполеона III, должен ли он преклоняться перед Бисмарком? С каждым днем семейство Виардо все более неуютно чувствовало себя, будучи французами, в Баден-Бадене. Закончилось тем, что они уложили чемоданы и отправились в Лондон. Вскоре вслед за ними туда приехал Тургенев. В первые недели военных действий он отправил в «Санкт-Петербургские ведомости» статью «Письма о франко-прусской войне», написанную в сугубо германофильском тоне. Теперь, неизменно нерешительный, он предпочитал побежденных французов немцам-победителям. Россия не ввязалась в эту войну, он мог держаться на расстоянии от политических страстей. Думается, он был далек от того, чтобы быть нейтральным, однако развитие военных событий не было для него вопросом жизни или смерти. Одним словом, он находился в своей излюбленной позиции – интернационального зрителя.

Ему хотелось бы получать ободряющие новости из России. Однако его последняя повесть «Степной король Лир» потерпела, по его собственному выражению, «фиаско». Даже простые читатели на этот раз больше не пошли за ним. «Беда в этом небольшая, – писал он Анненкову, – боюсь я только, как бы эти последовательные поражения не потрясли дух редактора << … >> и не лишили бы его бодрости платить мне 400 р. за лист, а менее я брать не могу << … >> И потому буду вперед писать для друзей, как говорят отставные литераторы; вернее же – вовсе не буду писать << … >>. Война их (Виардо. – **А.Т.**) разорила, и госпожа Виардо должна стараться зарабатывать себе необходимые деньги в Англии, единственной стране, где этот товар еще находится». (Письмо от 16 (28) октября 1870 года.)

В Лондоне его преследуют холод, туманы, денежные заботы; приступы подагры с некоторых пор стали особенно мучительными. Полина Виардо давала уроки пения за сто

франков в час. Кроме того, она, после того как оставила сцену, решила с завидной настойчивостью возобновить артистическую карьеру. Она, не уставая, выступала то здесь, то там в более или менее хорошо оплачиваемых концертах, деликатный Тургенев восхищался ее жизнелюбием, ее бодростью и умением устраивать дела. Со своей стороны он считал английскую жизнь хлопотной и вместе с тем несчастной и не искал встреч с известными писателями. Увиденные из Лондона французские события приводили его в уныние. Взятие Орлеана, Руана, отступление французов за Марну – следующие один за другим удары, которые угнетали семейство Виардо и его самого. «Сообщения из Франции меня не удивили, хотя и глубоко огорчили, – писал он Полине Виардо, которая была на гастролях, – я не верю больше в успех борьбы и вижу в ней только все нарастающее уничтожение Франции, республики и свободы». И тотчас вздыхает: «К моему глубокому и неизменному чувству к вам прибавилась еще какая-то невозможность быть без вас; ваше отсутствие причиняет мне физическое страдание – словно мне не хватает воздуха, это какая-то тайная и глухая тоска, от которой я не могу избавиться и которую ничто не может рассеять. Когда вы здесь, моя радость спокойна – но я чувствую себя в своей тарелке – ad omo[30] – и ничего иного не желаю». (Письмо от 23 ноября – 5 декабря 1870 года.) Дополнительные заботы приносила ему Полинетта. Война разорила ее мужа Гастона Брюэра. Она была в отчаянии. «Я надеюсь, что, выйдя из этого испытания, вы станете сильнее и лучше, – писал он ей, – во всяком случае, ты должна знать, что у тебя есть отец, который не оставит тебя без куска хлеба». (Письмо от 10 (22) ноября 1870 года.) Однако у него самого не было денег. Единственный выход – новая продажа земли. Для этого нужно было вернуться в Россию. А родина же все меньше и меньше притягивала его к себе.

Он решился, наконец, и отплыл без энтузиазма в Санкт-Петербург. Именно там он узнал условия, на которых Франция подписала мир: «Итак, Эльзас и Лотарингия потеряны… пять миллиардов. Бедная Франция! Какой ужасный удар и как оправиться от него? Я очень живо представил себе вас и то, что вы должны были перечувствовать… – писал он Полине Виардо. – Это, наконец, мир, но какой мир! Здесь все полны сочувствия к Франции, но от этого становится еще горше». (Письмо от 15 (27) февраля 1871 года.)

Искренне жалея Францию, Полинетту и своих друзей Виардо, он пожертвовал, как обычно, какими-то светскими обязанностями; побывал на обедах, спектаклях и концертах, позировал художникам. Прежде чем уехать в Англию, он поручил

другу Маслову продать за любую цену одно из своих имений. Едва вернувшись в Лондон, он узнал об ударе, который нанес ему Достоевский, высмеяв его в своем новом романе «Бесы». Один из героев книги – писатель Кармазинов – был выведен «русским европейцем», и Достоевский вложил в его уста слова автора «Дыма»: «Я стал немцем и горжусь этим». Чтобы подчеркнуть сходство портрета с моделью, Достоевский наделил своего героя «румяным личиком, с густыми седенькими локончиками… завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушков его» и «медовым, несколько крикливым голоском». Гордость Тургенева была задета. Он достойно парировал: «Мне сказывали, что Достоевский „вывел“ меня… Что ж! Пускай забавляется». (Письмо к Полонскому от 24 апреля (6) мая 1871 года.)

События Парижской Коммуны возмутили его до отвращения. Мятежное правительство, бунты, братоубийственная война, за которой с любопытством наблюдали немцы! «Я нахожусь в Англии – не ради удовольствия – но потому, что мои друзья (Виардо. – **А.Т.**), почти разоренные этой войной, приехали сюда, чтобы попытаться заработать немного денег», – писал он Флоберу. (Письмо от 24 апреля – 6 мая 1871 года.) И спрашивал, как тот перенес эту «ужасную бурю». Смог ли «остаться прирожденным зрителем»? Узнав о разгроме парижских революционеров войсками Тьера и о последовавших жестоких репрессиях, он записал на полях рукописи следующую мысль, которая пришла ему в голову: «Это еще не конец и не начало. Была и будет неразбериха. Finis Francae!»[31] Однако в то же время он надеялся на то, что с возвращением покоя благодаря победе сил правопорядка он мог бы, наконец, вернуться во Францию и увидеть там вновь свою дочь и своих друзей. «Эти парижские события меня потрясли, – писал он Флоберу. – Я замолчал, как замолкают на железной дороге при въезде в туннель: адский грохот ошеломляет вас и вызывает головокружение. Теперь, когда он почти прекратился, я спешу вам сказать, что в августе месяце *непременно* приеду повидать вас». (Письмо от 1 (13) июня 1871 года.) И действительно, после того как он произнес на английском речь в Эдинбурге по случаю юбилея Вальтера Скотта и с удовольствием побывал на охоте на куропаток в Экоссе, он 16 августа отплыл на континент.

Его торопливое пребывание в Париже позволило констатировать, что нормальная жизнь постепенно вступает в свои права во все еще опустевшем городе. Однако он уже торопился в Баден-Баден. Там семейство Виардо распродавало все, чем владело, намереваясь окончательно покинуть Германию. Не представляя себе жизни без них, Тургенев продал дом,

который только что построил и в котором собирался провести остаток своих дней. Согласно контракту, он должен был освободить его первого ноября 1871 года. Последние недели в Германии он провел в постели, скованный приступом подагры. Чтобы убить время, он работал над длинной повестью «Вешние воды», из которой исключил любой политический акцент.

В ней в который раз речь идет о страшной силе любви, о лучезарном господстве женщины, постыдном унижении мужчины, покоренного чувствами к ней. Это было истинно тургеневское произведение по изяществу стиля и фатализму темы. Автор был в общем и целом удовлетворен ею. Однако, как всегда, боялся ее приема русской прессой, столь плохо расположенной к нему.

Он беспокоился и за атмосферу, в которой окажется во Франции. «В нынешнем французском Национальном собрании, – писал он французскому издателю Жюлю Этцелю, – особенно поражает меня отсутствие патриотизма в самом простом – и в самом прямом смысле этого слова. В то время, как позор иноземного нашествия должен бы быть днем и ночью их единственной заботой, невыносимо жечь, как прикосновение раскаленного железа к их подошвам, их сердцу, их душе – эти господа заняты обсуждением каких-то вопросов о партиях, о форме правления – уж не знаю, о чем еще! И, разумеется, это страшно подрывает престиж Франции в глазах Европы. <<…>> Если Тьер имеет право быть там, где он есть, и тем, что он есть, – то это потому, что, вопреки всему, невозможно не ощутить в нем этот патриотизм, о котором я говорил выше». (Письмо от 17 (29) августа 1871 года.)

Виардо уехали первыми. Тургенев присоединился к ним в Париже 21 ноября 1871 года. Семья и ее друг устроились в доме Виардо на улице Дуэ, 48. Пережив бурю, Виардо с облегчением вернулись к своей мебели, своим друзьям и счетам в банке. Никогда Тургенев не чувствовал себя так близко к любимой женщине. Она и ее муж занимали первый этаж дома с гостиной, столовой, концертным залом, главным украшением которого был монументальный орган, и картинной галереей, где было представлено множество полотен великих художников: Веласкеса, Риберы, Гарди… Луи Виардо был страстным коллекционером. На последний этаж, где в четырех комнатах жил писатель, вела внутренняя деревянная резная лестница. В его кабинете, отделанном зеленой тканью и всегда тщательно убранном (он не любил беспорядка), были две главные вещи: письменный стол и диван для отдыха. Повсюду книги – русские, французские, английские, немецкие. На стенах – пейзажи Теодора Руссо, один Коро, профиль Полины, выполненный в виде мраморного

барельефа, и слепок руки с длинными пальцами певицы. Чтобы лучше слышать, когда она пела, он распорядился установить акустическую трубку между своим кабинетом и музыкальным салоном. Этот аппарат стоил ему двести франков. Он называл его своим «телефоном». А Полина – «ухом Тургенева». Таким образом, даже находясь на расстоянии, она присутствовала при работе и в мечтах своего неутомимого поклонника.

Глава XI
Париж

Дом на улице Дуэ стал вскоре центром притяжения для всех русских, живших в Париже. Тургенев был для них «послом русской интеллигенции». В любое время, порой без предупреждения, приходили знакомые или незнакомые. Одни просто хотели на него посмотреть, другие приносили рукописи, третьи просили денег на издание какого-то революционного журнала. Усталый Тургенев любезно принимал их, выслушивал, соглашался помогать и внутренне протестовал против их бесцеремонности. Однако, испытывая раздражение от потока незваных гостей, он в глубине души чувствовал необходимость видеть, слышать их… Благодаря им он, казалось, прикасался к России, дышал ее благословенным воздухом. Это была еще одна возможность оставаться русским во Франции. Иногда во время разговора с соотечественниками-эмигрантами в кабинет прилетали звуки пианино. На нижнем этаже пела Полина. Тургенев прислушивался, улыбаясь. Потом возвращался к разговору, виноватый, рассеянный. Любовь к этой крепкой пятидесятичетырехлетней седеющей темноглазой женщине с твердым характером не мешала ему искренне интересоваться русскими людьми, жившими в Париже. Чувство долга, в основе которого лежал патриотизм, великодушие и мягкость характера, не позволяло ему забывать обещаний, которые он давал изгнанным соотечественникам, искавшим рядом с ним хоть какой-то покой. Он добросовестно читал их неумелые рукописи, составлял рекомендательные письма, принимал личное участие, устраивая своего соотечественника в больницу, давал взаймы деньги, не рассчитывая получить их обратно, организовывал в пользу нуждавшихся музыкальные вечера, заложил основу в Париже первой русской библиотеки[32]. Благодаря этим многочисленным заботам он заставлял себя забывать мучительное чувство ностальгии. Однако чем более он считал себя европейцем, тем более испытывал притяжение к родной стране. Под внешностью космополита жил глубоко русский человек. С годами он все чаще возвращался к воспоминаниям о детстве, прошедшем в России. Богатство, щедрость этой прадедовской земли питали его мечты. Закрыв глаза, он гулял по дорожкам Спасского, по улицам Москвы и Санкт-Петербурга, чувствовал знакомые запахи, слышал голоса далекой жизни. Однако ехать в Россию он не считал необходимым. Здесь все было

на поверхности: легкие удовольствия, милая цивилизация; жестокая же действительность, та, где великие произведения черпали свою жизненную силу, находилась там, за границами. Он обнаруживал, что неспособен написать роман, повесть, главными действующими лицами которых не были бы русские люди. Для этого нужно было поменять душу, если не тело. «Мне для работы, – скажет он Эдмону де Гонкуру, – нужна зима, стужа, какая бывает у нас в России, мороз, захватывающий дыхание, когда деревья покрыты кристаллами инея… Однако еще лучше мне работается осенью в дни полного безветрия, когда земля упруга, а в воздухе как бы разлит запах вина…» Эдмон де Гонкур заключал: «Не закончив фразы, Тургенев только прижимал к груди руки, и жест этот красноречиво выражал то духовное опьянение и наслаждение работой, какие он испытывал в затерянном уголке старой России». (Дневник братьев де Гонкур, 5 мая 1876 года.)

Все французские друзья Тургенева отмечали, какое загадочное впечатление производил этот пятидесятисемилетний «великий старик» с шелковистой седой бородой, густой серебряной шевелюрой, крупным носом и добрыми глазами. Они приписывали это загадочное обаяние его славянскому происхождению. Широко известный в литературных кругах Тургенев много лет знал и любил Жорж Санд. Не так давно он подружился с Гюставом Флобером. На «обедах у Маньи» или в других ресторанах он встретился также с Сент-Бевом, Эдмоном де Гонкуром, Теофилем Готье, Тэном, Ренаном… Во время одного из ужинов в ресторане Вефур Эдмон де Гонкур внимательно рассматривал своих соседей по столу. «Мадам Санд еще больше высохла, но по-прежнему была детски обаятельна и весела, как старушки минувшего столетия. Тургенев говорил, и никто не перебивал этого великана с ласковым голосом, в рассказах которого всегда звучат нотки волнения и нежности». (Дневник братьев де Гонкур, 8 мая 1876 года.) К группе старых совсем недавно присоединились молодые писатели – Доде, Золя, Мопассан. Однако среди всех чудесных собратьев Тургенев отдавал предпочтение, бесспорно, Флоберу. «Этих гениальных людей связывала добродушная простота, – напишет Альфонс Доде в книге „30 лет в Париже“. – Виновницей же их союза была Жорж Санд. Флобер – бахвал, фрондер и Дон Кихот, со своим громоподобным голосом, беспощадной наблюдательностью, повадками воина-нормандца – был мужской половиной этого духовного союза. Но кто бы заподозрил, что второй колосс, с мохнатыми бровями и огромным лбом, сродни тонкой, чуткой женщине, много раз описанной им в романах, русской женщине –

нервной, страстной, томной и медлительной, как восточная рабыня, трагичной, как готовая взбунтоваться сила? Среди великой людской неразберихи души попадают иной раз не в ту оболочку; мужская душа оказывается в женском теле, а женская в грубом обличье циклопа». Тургенев ценил прямоту, жесткость, честность великого отшельника из Круассе, его ненависть к глупости, его пренебрежение к моде, презрение к светским условностям. Флобер не боялся ни критики, ни болезни, ни смерти. Он избежал власти женщин. Его питало и мучило творчество. Рядом с ним Тургенев чувствовал себя чрезвычайно хрупким, нерешительным, раздражительным, уязвимым человеком. Флобер «хотел» жизнь такой, какой она была, между тем как жизнь Тургенева зависела от «желания» кого-то другого. Флобер был хозяином самого себя. Тургенев принадлежал себе только наполовину. Флобер противостоял бурям, Тургенев легко поддавался влиянию ветерка. Флобер, когда писал, ожесточенно чеканил фразу и, чтобы удостовериться в своем мастерстве, пропускал ее через свой «гортанный» голос. Тургенев искал прежде всего простоты, динамичности, гармонии. Но их обоих объединяла обожествленная любовь к литературе. Тургенев бывал у Флобера то в его уединении в Круассе, то в парижской квартирке на улице Мурильо, украшенной на алжирский манер, окна которой выходили на парк Монсо. По воскресеньям там проходили блистательные встречи, на которых собирались Тургенев, прозванный «добрым Московитом», Доде, Золя, Эдмон де Гонкур, Мопассан. Флобер встречал гостей, надев халат без рукавов и феску. Царила полная свобода в манерах, мнениях, разговорах.

Братское чувство Флобера к Тургеневу укрепится за годы переписки. Каждое письмо – только похвалы Московиту: «Этот скиф – великий добряк». (25 мая 1873 года.) «Я все больше и больше люблю его». (30 декабря 1873 года.) «Единственные литературные друзья – мадам Санд и Тургенев. Эти двое стоят толпы». (январь 1873 года.) «Это человек чудесный. Ты не представляешь, сколько он знает… Он знает, я думаю, очень глубоко все литературы! И при этом такой скромный! Такой добряк, такая корова! С тех пор как я написал ему, что он был „вялой грушей“, все зовут его у Виардо не иначе как „вялая груша“». (5 ноября 1873 года.)

Расхваливая исключительные достоинства Тургенева, Флобер не отказывал себе в удовольствии при случае подчеркнуть его слабости. Чаще всего он упрекал его за зависимость от Полины Виардо и нерешительное поведение в жизни. «Московит так привязан, что я не знаю, где он теперь находится – в Буживале,

Сомюре или Оксфорде». (9 сентября 1873 года.) «Насколько все-таки редка прямая линия! Чего бы ему (Тургеневу. – **А.Т.**) стоило выполнить то, что он сказал. Так нет, он мешкает, он откладывает». (20 декабря 1876 года.)

Своим друзьям, которые восхищались им и уважали его, Тургенев, не уставая, рассказывал о России. Благодаря ему они узнали Пушкина, Гоголя, Толстого… Он посвящал их в особенности русской жизни, рассказывал о русской природе, русской истории. Он был в их глазах идеальным связным между Францией и его огромной страной, неведомой, исполненной тайн и надежд. Его преклонение перед русскими писателями было таково, что без малейшей зависти он трудился, содействуя переводу их произведений на французский язык. Их успехи во Франции радовали его как личная победа. Одновременно он рекомендовал французские произведения русским издателям с целью перевода. Он сам перевел, помимо всего прочего, на русский язык «Искушение святого Антония», «Иродиаду», «Легенду о Святом Юлиане Милостивом» Флобера. Эта роль пропагандиста, служившего одновременно двум культурам, оправдывала в его глазах его присутствие на чужой земле. Он оправдывал это свое добровольное изгнание, говоря себе, что жил во Франции не только ради собственного удовольствия, но, живя там, он был полезен и своей родной стране, и в то же время стране, которая приняла его. Впрочем, не только русскую литературу прославлял Тургенев перед своими друзьями. Он был более европейцем, чем каждый из них, и говорил помимо французского на немецком, английском, итальянском, испанском языках. Однажды в воскресенье после обеда, во время одной из встреч у Флобера он перевел с листа восхищенной аудитории «Прометея» и «Сатиры» Гете. «Парк Монсо радовал нас веселыми детскими голосами, ярким солнечным светом, свежестью только что политых цветов, – напишет Альфонс Доде, – и мы четверо – Гонкур, Золя, Флобер и я – взволнованные этой величественной импровизацией, внимали гению, переводившему гения». (Альфонс Доде. «30 лет в Париже».)

Флобер уважал Московита не только как писателя, он относился к нему как к лучшему своему литературному советнику. «Вчера я провел прекрасный день с Тургеневым и прочитал ему написанные 150 страниц „Святого Антония“, – писал он Жорж Санд. – Затем я прочитал ему почти половину „Последних песен“. Какой слушатель и критик! Он покорил меня глубиной и верностью суждений. Ах! Если бы все, кто пытается судить о книгах, могли слышать его! Какой урок! Ничто не ускользает от него. В конце пьесы из ста стихотворений он

вспомнил о слабом эпитете. А для „Святого Антония“ подсказал мне несколько прекрасных деталей». (Письмо от 28 января 1872 года.)

Мопассан описывал Флобера, который «с благоговением слушал Тургенева, устремив на него взгляд голубых глаз, согласно кивая ему головой и отвечая его слабому, нежному голосу своим „гортанным“, исходившим из-под усов, подстриженных под старого гальского воина, и похожим на звук трубы голосом». Что касается Эдмона де Гонкура, то в своем дневнике 2 марта 1872 года он написал следующий портрет «доброго Московита»: «Тургенев – кроткий великан, любезный варвар, с седой шевелюрой, ниспадающей на глаза, глубокой морщиной, прорезавшей лоб от одного виска до другого, подобно борозде плуга, своим детским говором он с самого начала чарует и, как выражаются русские, обольщает нас сочетанием наивности и остроумия – тем обаянием славянской расы, которое у него особенно неотразимо благодаря самобытности блестящего ума и обширности космополитических познаний». В тот же вечер у Флобера Тургенев признался друзьям: «Будь я человеком тщеславным, я попросил бы, чтобы на моей могиле написали лишь одно: что моя книга („Записки охотника“. – **А.Т.**) содействовала освобождению крестьян. Да, я не стал бы просить ни о чем другом. Император Александр велел передать мне, что чтение моей книги было одной из главных причин, побудивших принять его решение». (Дневник братьев де Гонкур, 2 марта 1872 года.)

Вскоре друзья маленькой компании решили устраивать ежемесячно интеллектуальные встречи за добрым столом. Они получили название «обедов у Флобера», или «обедов пяти освистанных авторов», так как каждый из участников считал, что хотя бы раз потерпел неудачу в театре. С Тургеневым этого, правда, не случалось, но, чтобы не разочаровать друзей, он поклялся, что тоже был освистан. Встречались то у Адольфа и Пеле, за Оперой, то в известной своей чесночной похлебкой таверне рядом с Комической оперой, то у Вуазена. Каждый считал себя гурманом, однако вкусы были разными. Флобер обожал руанских уток, приготовленных на пару, Эдмон де Гонкур находил изысканным заказывать варенье из имбиря. Золя страстно любил морских ежей и устриц, Тургенев ел с удовольствием икру. «Что может быть восхитительнее дружеских обедов, когда сотрапезники непринужденно и живо беседуют, облокотившись на белую скатерть… – писал Альфонс Доде. – Садились за стол часов в семь вечера, а в два часа ночи трапеза еще не заканчивалась. Флобер и Золя ужинали, сняв пиджаки,

Тургенев растягивался на диване; выставляли за дверь гарсонов – предосторожность излишняя, так как „гортанный голос“ Флобера разносился по всему зданию, – и беседовали о литературе… Всякий раз у нас была одна из наших только что вышедших книг… Разговаривали с открытой душой, без лести, без взаимных восторгов». (Альфонс Доде. «30 лет в Париже».)

Когда с обсуждением книг бывало покончено, обращались к темам более общего характера. Часто эти хорошо поевшие и изрядно выпившие мужчины разговаривали о любви. Для Золя, для Мопассана, для Флобера, для Эдмона де Гонкура любовь была прежде всего физиологическим явлением. Они говорили о ней с наслаждением, как о только что съеденных блюдах. Их похотливые изъяснения сопровождались громким смехом. Тургенев, напротив, видел в соединении мужчины и женщины явление сверхъестественное. «Я, – говорил он своим друзьям, – касаюсь женщины с чувством благоговения, волнения, удивления, испытывая счастье». (Дневник братьев де Гонкур, 5 мая 1876 года.) А Эдмон де Гонкур добавлял к этому: «Он (Тургенев) говорит, что любовь вызывает у человека чувство, несравнимое с каким-либо другим чувством, что оно человека, который по-настоящему влюблен, заставляет забывать самого себя. Он говорит об ощущении нечеловеческой тяжести в сердце, он говорит о глазах первой женщины, которую он любил, как о чем-то совершенно нематериальном, неземном… Все это хорошо, но вот горе: ни Флоберу, несмотря на его пышные выражения при описании этого чувства, ни Золя, ни мне самому никогда не случалось влюбляться очень сильно, и поэтому мы не были способны живописать любовь. Это мог сделать только Тургенев». (Дневник братьев де Гонкур, 5 мая 1877 года.) Не называя Полины Виардо, именно ей он посвящал свои любовные строки. Рядом с этими законченными «реалистами», обладавшими прекрасным аппетитом, он оставлял впечатление оторванного от жизни, бесплотного человека – идеалиста. Может быть, это было уже проявление возраста? Нет, как бы глубоко Тургенев ни погружался в свои воспоминания, он оставался все тем же неисправимым романтиком в своем веке. Всю свою жизнь он был увлечен загадкой женщины. Каждая из них была для него целым миром, который нужно открыть. Он переходил, таким образом, от изучения к изучению, от восторга к восторгу. Однако, не будучи человеком пылкого темперамента, он искал в избраннице духовное, а не физическое наслаждение.

Однажды вечером, когда встали из-за стола, Теофиль Готье опустился на диван и сказал, вздохнув: «Что касается меня, то меня ничто больше не интересует, мне кажется, что я больше не

ваш современник… Мне кажется, что я уже умер!». – «А у меня, – подхватил Тургенев, – другие чувства. Знаете, временами в доме появляется едва уловимый запах мускуса, от которого нельзя избавиться, который нельзя изгнать… Так вот, вокруг меня будто всегда витает запах смерти, небытия, распада». (Там же, 5 марта 1872 года.) Тем не менее он утверждал, что не боится смерти. «О смерти? Я о ней не думаю, – убеждал он Доде. – У нас никто ясно ее не представляет, это нечто далекое, неясное… славянский туман». Доде добавлял: «Славянский туман покрывает все его творчество, окутывает его, вносит в него трепет жизни, и сам разговор писателя как бы погружен в него». (А. Доде. «30 лет в Париже».)

Этот «славянский туман» сгущался год от года в жизни и произведениях Тургенева. По мере того как он приближался к старости, он более обостренно воспринимал потусторонний мир. Много раз уже его приводили в растерянность галлюцинации. Спускаясь по лестнице к столу, он заметил поднимавшегося в свою туалетную комнату, одетого в охотничий костюм Луи Виардо, а минуту спустя, войдя в столовую, увидел того же Виардо, который мирно сидел на своем обычном месте. Или же в Лондоне он разговаривал с пастором и вдруг рядом со своим собеседником увидел его скелет с выступающими зубами и пустыми глазницами. Или еще: однажды солнечным утром призрак незнакомой женщины в пеньюаре навестил его и обратился на французском. Будучи агностиком, он признавал влияние этих видений на свою жизнь и работу. Да, в самом деле, в его характере и творчестве была странная раздвоенность. Рядом с человеком дневным, ясным, рассудительным, твердо стоящим на земле, вырисовывался человек ночной, одолеваемый предчувствиями, ослепленный видениями. За дневными, прекрасно построенными, основательными, ясными романами следовали ночные повести, носившие отпечаток таинственности. Отрицая учение официальной церкви, Тургенев все больше и больше убеждался в существовании другого мира. Потустороннее дыхание набегало волнами. Он выплескивал свой страх на страницы таких повестей, как «Призраки», «Собака», «Тук-тук-тук», «Часы». Последнюю повесть сам автор находил «странной». Следующая повесть, «Сон», была настоящим кошмаром, описанным с точностью и отчаянной смелостью. Насилие, навязчивое состояние виновного отца, мания, колдовство – Тургенев позволил себе дойти до галлюцинаций, которые пугали, пленяли его. В другой повести, «Рассказы отца Алексея», он анализирует, как бес медленно овладевает душой. Даже «Живые мощи» – этот типично русский шедевр – тоже имели

потусторонние звуки. 5 (17) марта 1877 года Тургенев пометит в своем дневнике: «Полночь. Сижу я опять за своим столом. И у меня на душе темнее темной ночи… Могила словно торопится проглотить меня: как миг какой пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный… Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать…»

После этих приступов болезненной меланхолии он чувствовал облегчение. Жизнь вступала в свои права, он снова с удовольствием посещал своих друзей, покупал картины в салоне Друо и поддерживал Лаврова в его революционных начинаниях. Странный человек этот Лавров! Если Бакунин советовал интеллектуалам идти в народ, поднимать его на немедленное всеобщее восстание, то более умеренный Лавров побуждал их разделить жизнь трудовых масс, воспитывать их, просвещать их и готовить, таким образом, завтрашний социализм. Призывы двух учителей подхватила русская молодежь. В 1873-м юноши и девушки испытали страстную необходимость разделить страдания простых людей. Следствием императорского указа, который предписывал русским студентам, жившим в Швейцарии, вернуться на родину, было то, что тысячи молодых, революционно настроенных пропагандистов пошли в деревни. Движение получило название «народничество». Сменив студенческие сюртуки на крестьянскую одежду, миссионеры становились земледельцами, рабочими. После работы они говорили с мужиками о необходимости экспроприации у помещиков их владений и установлении коллективной собственности на землю.

Недоверчивые, консервативные крестьяне смотрели недоброжелательно на словоохотливых чудаков, которые не знали работы и хотели быть равными им. Почитавшие испокон веков царя, жившие веками в рабстве, бывшие крепостные боялись перемен. Не обманывают ли их? Часто они сами хватали агитаторов и выдавали властям. Полиция следовала за «народниками» неотступно.

Тургенев с пристрастием следил за развитием этого социального феномена. Он несколько раз возвращался в Россию, чтобы внимательно присмотреться к нему. Результатом этого изучения событий на месте стал роман, который был вдохновлен хождением революционеров-интеллектуалов в народ, – «Новь». Главные герои – Нежданов и Марианна – молодые, увлеченные современными идеями люди, бегут в деревню «евангелизировать» крестьян и находят пристанище у директора фабрики Соломина, который разделяет их политические взгляды. Однако в отличие от мечтателей Нежданова и Марианны, Соломин –

положительный, глубокий, уверенный в себе человек. Он понимает, как трудно пробудить в мужиках новую веру. Он считает революцию необходимой, но в отдаленном будущем, после мудрой и неспешной эволюции нравов. Вскоре Нежданов, который обратился к мужикам, констатирует, что произносит речи, из которых они «едва что-нибудь в толк берут». «Ведь никто из нас не знает, как именно следует бунтовать народ…» – говорит он. В конце концов, устав от туманных речей агитаторов, крестьяне сдают их полиции. Нежданов оканчивает жизнь самоубийством. Марианна, думавшая, что любила его, предает память о нем и выходит замуж за Соломина. Так в который раз, как в «Накануне», увлеченная девушка вверяет себя сильному человеку. Описывая новое поражение пустого мечтателя, русского Гамлета, Тургенев осуждает самого себя посредством своего героя.

Едва вышедшая из печати книга настроила против него равно и революционеров, и консерваторов. Революционеры были возмущены ясным и жестким анализом поражения одного из своих собратьев. Консерваторы упрекали автора в том, что выказал излишнюю симпатию к такому герою, как Соломин, взгляды которого носили подрывной характер. Что касается нейтральных критиков, то они сожалели об обличительном стиле романа и отсутствии правды в образе Соломина, который, как когда-то «болгарин», был воплощенной в образе идеей, деревянной марионеткой, послушной воле автора. Песковский в «Русском обозрении» утверждал, что «Новь» являла собой нагромождение ложных идей, искусственных лиц, что поведение героев похоже на поведение «детей, играющих в революцию». Марков в «С. -Петербургских ведомостях» писал, что автор «обманул общие ожидания как художник», ибо в романе нет «ни богатства поэтических красок, ни былой выразительности и рельефности характеров, ни даже увлекательного и живого рассказа». Маркович в «Голосе» обвинял Тургенева в жестокости «к матушке-Руси православной». А критик «Пчелы» бросал ему в лицо, что «вся „новь“, появляющаяся в романе, очевидно, не была наблюдаема, или круг наблюдений был до крайности сужен: до такой степени фигуры этих молодых людей бледны, не типичны, фальшивы; язык, которым они говорят, не их язык << … >>; характеры непонятны, искажены».

Тургенев ожидал подобного потока протестов. Уже до публикации «Нови» он писал Салтыкову: «Не о „лаврах“ я мечтаю – а о том, чтобы не слишком сильно треснуться физиономией в грязь». (Письмо от 17 (29) сентября 1876 года.) А в письме к Полонскому признавался: «Какая бы ни была ее окончательная

судьба – это мой последний самостоятельный литературный труд; это решение мое бесповоротно: мое имя уже не появится более. Чтобы не отстать от привычки к перу – я, вероятно, займусь переводами». (Письмо от 18 февраля (2) марта 1877 года.) Тем не менее сила некоторых выпадов глубоко ранила его. Хулимый на родине, он страдал от своего ложного положения во Франции, от своего ложного положения в отношениях с русской молодежью и от своего ложного положения в семье Полины Виардо. Куда бы он ни оборачивался – он всюду был гостем, временным человеком. Русская земля, которую он так любил, уходила из-под его ног. Он балансировал между двумя – даже тремя отечествами, между двумя – даже тремя языками. Он не принадлежал никому. Был гражданином ниоткуда. И единственное утешение находил рядом с французскими друзьями, которые боготворили его.

Этот продолжительный парижский период осветили многочисленные встречи с писателями кружка, путешествиями в Круассе к Флоберу, в Ноан к Жорж Санд, рождением дочери, а затем сына у Полины Брюэр – Жанны и Жоржа-Альбера, свадьбой Клоди Виардо с Жоржем Шамеро, дружбой с революционером-эмигрантом Лавровым, газете которого «Вперед» он согласился оказывать денежную помощь. Его политические взгляды становились все более либеральными. Он обвинял Францию в том, что она стала фальшивой республикой, которая отреклась от своих принципов. После того как он поприсутствовал в Версале на заседании Национальной Ассамблеи, во время которого было решено дать семь лет пророгации[33] власти Мак-Магона, он написал 19 ноября 1873 г. Флоберу: «Итак, дорогой друг, со вчерашнего дня у вас военная диктатура. Вы, как мне сказали, макмагонец. Мне всегда казалось, что лучше быть просто французом, но я могу и заблуждаться. <<…>> Третьего дня я побывал в Версале и вернулся оттуда, испытывая отвращение и грусть».

Подобный страх перед эксцессами власти разделяли Виардо, которые проявляли во всех обстоятельствах благородство, независимость и оставались антиклерикалами. Их дом стал в короткое время центром притяжения для космополитов. Они принимали всех великих представителей литературного и артистического мира. Одетая обычно в элегантное с черным кружевом платье, Полина Виардо садилась за пианино, чтобы разобрать какую-то партитуру, которую ей только что принесли. Стоявший рядом Тургенев, надев монокль, читал одновременно с ней ноты. Он не любил новых тенденций в музыке и, по словам Антона Рубинштейна, который был завсегдатаем салона, гневно критиковал высоким, «почти женским голосом» некоторые

отрывки. Иногда к матери присоединялись Клоди и Марианна и пели в три голоса, восхищая присутствующих. Воскресными вечерами ставили комедии, танцевали, разыгрывали шарады и живые картины. Тургенев страстно любил эти развлечения. Однако они отвлекали его ненадолго, они не могли рассеять то глубокое чувство горечи, которое было в его характере. Кроме тревог, которые вызывала французская политика и частые приступы подагры, мешавшие ему работать и строить планы на будущее, постоянно, назойливо напоминало о себе неприятное понимание того, что он не был любим своей собственной страной. Он несколько раз ездил в Россию и возвращался оттуда всякий раз разочарованный. В Санкт-Петербурге, в Москве, даже в Спасском он уже не был у себя дома. Он испытывал физическое удовольствие, вдыхая воздух родины, и с грустью замечал молчаливые упреки своих соотечественников. В 1872 году он согласился на то, чтобы московский Малый театр поставил его пьесу «Месяц в деревне», написанную около двадцати лет назад. Она была плохо принята публикой и критикой. Все в один голос нашли ее скучной. «Моя комедия должна была получить фиаско, – писал Тургенев своему брату Николаю, – оттого я и бросил (с 1851 года) писать для сцены: это не мое дело». (Письмо от 5 (17) февраля 1872 года.) Если в России его судили строго, то он и сам мог при случае быть строгим по отношению к своим русским собратьям. Большие успехи в литературе рождали сомнения. Даже «Анна Каренина» Толстого не оправдала его ожидания: «С его талантом забрести в это великосветское болото и топтать и толкаться там на месте – и относиться ко всей этой дребедени не с юмором – а, напротив, с пафосом, серьезно – что за чепуха! Москва загубила его – не его первого, не его последнего. Но жаль его больше, чем всех других». (Письмо к Топорову от 20 марта (1) апреля 1875 года.)

Его пренебрежительная оценка несчастий Анны Карениной казалась ему тем более оправданной, что он считал себя, исходя из продолжительного жизненного опыта в отношениях с женщинами, своего рода экспертом в сердечных делах. Ведь даже в своем возрасте – больной, мрачный и усталый – он мечтал о новой любви. Разочарованный отношениями с Полиной Виардо, он увлекся в конце 1873 года молодой баронессой Юлией Вревской. Этой женщине было 35 лет, она была красива, свободна и мечтала разделить жизнь с незаурядным человеком. Однажды ей показалось, что она нашла его в этом знаменитом пятидесятишестилетнем романисте, который в Спасском читал ей стихи, целовал, вздыхая, руки. «Мне не нужно распространяться о том чувстве, несколько странном, но искреннем и хорошем,

которое я питаю к Вам, – писал он ей. – Вы это все лучше меня знаете». (Письмо от 6 (18) апреля 1874 года.) И еще: «Мне все кажется, что если бы мы оба встретились молодыми, неискушенными – а главное – свободными людьми… Докончите фразу сами…» (Письмо от 9 (21) сентября 1874 года.) Он увидел ее снова в Париже, в Карлсбаде и во время одного из своих пребываний в России. При каждой встрече он с сожалением думал об унизительных ограничениях своего возраста. Он мечтал об интимной, физической близости, однако тело его не желало волноваться. Это противостояние души и тела истощало его. Ища забвения, он говорил с Юлией Вревской о своих горестях мало любимого писателя: «Смотрю на литературную свою карьеру как на покончeнную. Но ведь и без литературы жить можно – и есть вещи в жизни, которые кусаются (особенно под старость) гораздо больнее, чем какое угодно литературное фиаско». (Письмо от 15 (27) января 1877 года.) На следующий день, набравшись смелости, он писал ей: «Очень бы мне хотелось провести несколько часов с Вами в Вашей комнате, попивая чай и поглядывая на морозные узоры стекол… нет, что за вздор! – глядя Вам в глаза, которые у Вас очень красивы – и изредка целуя Ваши руки, которые тоже очень красивы, хотя и велики… но я такие люблю». (Письмо от 1 (13) февраля 1875 года.) И еще: «Чувствую, что стареюсь, и нисколько меня это не радует. Напротив. Ужасно хотелось бы перед концом выкинуть какую-нибудь несуразную штуку… Не поможете ли?» (Письмо от 5 (17) октября 1875 года.) Наконец, еще более определенно: «С тех пор, как я Вас встретил, я полюбил Вас дружески – и в то же время имел неотступное желание обладать Вами; оно было, однако, не настолько сильно необузданно (да уж и не молодец я был), чтобы попросить Вашей руки, – к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют une passade[34] – вот Вам и объяснение моего поведения. Вы хотите уверить меня, что Вы не питали „никаких мыслей“; увы! Я, к сожалению, слишком был в этом уверен. Вы пишете, что Ваш женский век прошел; когда мой мужской пройдет – и ждать мне весьма недолго – тогда, я не сомневаюсь, мы будем большие друзья, потому что ничего нас тревожить не будет. А теперь мне все еще пока становится тепло и несколько жутко при мысли: ну, что если бы она меня прижала бы к своему сердцу не по-братски?.. Ну, вот Вам и исповедь моя». (Письмо от 26 января (7) февраля 1877 года.) Эта исповедь глубоко взволновала молодую женщину, однако она также считала, что их идиллия началась слишком поздно. Странно. Так бывало всегда: любовь касалась Тургенева – и исчезала. Он с грустью возобновит

попытку: «Нет сомнения, что несколько времени тому назад – если бы Вы захотели… Теперь – увы! время прошло и надо только поскорей пережить междуумочное время – чтобы спокойно вплыть в пристань старости». (Письмо от 8 (20) февраля 1877 года.)

Однако Юлия Вревская не была той женщиной, которая желала ограничиться спокойным течением до «пристани старости». Разочаровавшись в любви, она постаралась найти для себя дело. С началом русско-турецкой войны она поступила добровольцем в армию и ушла на фронт. Она умерла в Болгарии от тифа. Потрясенный ее смертью, Тургенев посвятил ей стихотворение в прозе, в котором рассказал о том, как она умирала в сарае, на гнилой соломе, среди солдат, за которыми героически ухаживала. Затем после этой неудачной попытки бегства из волшебного круга Полины Виардо, он вернулся печальный, отчаявшийся в свое привычное рабство рядом с певицей.

Глава XII
Тургенев и Толстой

«Мы, я и Виардо, приобрели здесь прекрасную виллу – в 3/4 часа езды от Парижа, – писал Тургенев Колбасину 15 июля 1875 года, – я отстраиваю себе павильон, который будет готов не раньше 20-го августа – но где я немедленно поселюсь. Постоянная моя квартира в Париже – Rue de Douai, 50[35] – я в Париж езжу три раза в неделю».

Вилла называлась «Френ»[36] и находилась на берегу Сены. От берега начинался парк с посыпанными мелким песком аллеями, кустарниками, плакучими ивами, ясенями с огромными кронами, статуями, фонтаном, журчащими ручейками, куртинами бегоний, фуксий и розами на полянах. У главного дома на возвышенности, выстроенного в стиле Директории, был элегантный фасад. Там жила семья Виардо. Справа на пригорке, до которого поднимались по крутой тропинке, находилось только что отстроенное в швейцарском вкусе с деревянными, искусно сделанными балконами и окруженное густой зеленью и цветами шале Тургенева. На первом этаже – столовая и гостиная. Наверху – просторный рабочий кабинет, заставленный книгами, картинами и безделушками. В углу возвышался мольберт Клоди. Она часто приходила писать этюд в кабинет своего «крестного отца», который с нежностью наблюдал за ее работой. Из углового окна открывался вид на Сену с легкими парусными шлюпками, рыболовными лодками, крытыми кабачками под ивами и тополями. На ближайшие луга, где паслись коровы, на покрытые голубой дымкой дали. На той же площадке находилась спальня Тургенева с большой кроватью с балдахином и двумя креслами, окнами, обрамленными тяжелыми шторами. Балкон выходил в парк. На верхнем этаже размещались комнаты для гостей и прислуги. В первые погожие дни семейство Виардо и Тургенев в нескольких экипажах, груженных дорожными сундуками, картонками и коробками, покидали Париж. В путешествие отправлялась вся семья: Луи, которому тогда было 75 лет, дремал на банкетке, рядом – Полина и ее дочери Клоди Шамеро и Марианна, сын Поль, несколько учениц Полины, слуги и верный Тургенев.

Жизнь в Буживале текла размеренно и мирно. Тургенев немного работал, много читал, неспешно гулял, опираясь на трость, по аллеям парка, или, накрывшись пледом, сидел на скамеечке и смотрел на «молодых», которые играли в крокет. По

вечерам слушал, как пела Полина и ее ученицы, или же допоздна играл в вист и шахматы. Перед сном он совершал последнюю прогулку по парку, вдыхал запахи уснувшей деревни, смотрел на сияющий вдалеке ореол Парижа, делал пометки в своем дневнике. После одной из таких прогулок он написал: «Самое интересное в жизни – это смерть».

Приступы подагры заявляли о себе все чаще. Когда он болел, вся семья была рядом. Клоди, стоя за мольбертом, рисовала, Полина вышивала, Марианна читала вслух какой-либо французский или английский роман. Тургенев время от времени прерывал ее шуткой. «Ну, Тургель (так его называли в семье. – **А.Т.**), – просила Клоди, закрывая ему своей маленькой надушенной ручкой рот, – помолчите, пожалуйста, мы хотим слушать!» Несмотря на эти знаки любви, он день ото дня становился грустнее. Смерть Жорж Санд в июне 1876 года глубоко огорчила его. «Бедная милая г-жа Санд! – писал он Флоберу. – Она любила нас обоих – особенно вас. Какое у нее было золотое сердце! До какой степени ей были чужды всякая мелочность, мещанство, фальшь – какой это был славный человек и какая добрая женщина! Теперь все это там, в страшной, ненасытной, немой и нелепой яме, которая даже не знает, что она пожирает!» (Письмо от 6 (18) июня 1876 года.) Он написал некролог на смерть Жорж Санд, который был опубликован в «Вестнике Европы».

Иногда в деревню навестить его в его пристанище приезжали русские друзья и рассказывали о студенческих волнениях в России. Поборник свободы, но враг насилия, Тургенев возмущался этим *стихийным* движением, которое не могло, по его мнению, иметь демократических последствий. Сотни молодых людей, арестованных во время «хождения в народ», предстали перед трибуналом. Этот колоссальный процесс позволил обвиняемым, воспользовавшимся правом слова, выступить против власти в защиту революции. Пресса публиковала отрывки их пламенных деклараций. Издаваемые в подпольных типографиях брошюры воспроизводили их полностью. Рассчитывая приковать «народников» к позорному столбу, власти предоставили им трибуну. Но симпатия публики оказалась на стороне защитников пролетарских идеалов. Студенты, которым власти запретили отныне мирную пропаганду, перешли к активным действиям. По всей стране образовывались тайные организации. На заводах бастовали рабочие. 6 декабря 1876 года на манифестации у Казанского собора в Санкт-Петербурге собрались сотни рабочих и крестьян. Полиция грубо разогнала стечение народа и арестовала зачинщиков. Этот бунт казался Тургеневу бесполезным и

абсурдным. «Вот уж точно можно сказать: всему можно назначить предел – за исключением глупости некоторых россиян: она беспредельна!» – писал он своему другу Стасюлевичу, издателю «Вестника Европы». (Письмо от 15 (27) декабря 1876 года.) Несколько месяцев спустя двадцатидевятилетняя Вера Засулич вошла к Трепову, начальнику полиции, и двумя выстрелами из револьвера тяжело ранила его. Во время ареста она объяснила, что хотела убить Трепова, потому что он приказал высечь одного из студентов, задержанных во время манифестации у Казанского собора. В чем состояло преступление этого студента? В том, что он отказался приветствовать Трепова во время инспектирования тюрьмы. Процесс Веры Засулич открылся в лихорадочной атмосфере. Во время дебатов адвокат обвиняемой заклеймил грубость начальника полиции и с восторгом говорил о душевном благородстве своей подзащитной. Она была оправдана. Толпа, собравшаяся у Дворца правосудия, встретила аплодисментами и пронесла с триумфом Веру Засулич до дома Трепова. Понадобилось вмешательство казаков для того, чтобы рассеять процессию. Тургенев был ошеломлен. Он увидел в этих событиях неожиданное продолжение своего романа «Новь». «История с Засулич взбудоражила решительно всю Европу, – писал он Стасюлевичу. – Вчера в „Bien public“[37] была статья „Felons nos heros“[38]… и кто же эти heros? Вольтер – и Засулич. Из Германии я получил настоятельное предложение написать статью об этом процессе, так как во всех журналах видят интимнейшую связь между Марианной „Нови“ и Засулич – и я даже получил название „der Prophet“[39]. На означенное предложение я, разумеется, отвечал отказом». (Письмо от 18 (30) апреля 1878 года.) Он был равно озабочен русскими неудачами в войне с Турцией. «Во всем этом я вижу новый плод нашей несчастной мысли стремиться за Балканы вместо того, чтобы поставить незыблемый оплот», – писал он тому же Стасюлевичу. (Письмо от 24 ноября (6) декабря 1877 года.) Кроме того, он страдал, констатируя, что любимые им Франция, Германия и Англия были благосклонны к Турции. «Обиднее всего видеть, какой сладостный восторг наполняет души всех европейцев – всех без исключения – при виде наших неудач, – писал он Анненкову. – Даже французы… французы! радуются… а уж им-то бы следовало желать нам всяких успехов». (Письмо от 29 июня (11) июля 1877 года.) И вновь Стасюлевичу: «Живем мы, русские, здесь в таком же напряжении, как и вы там… Если мир скоро заключится – ну, ничего; если затянется – беда!! Не только англичане и немцы, французы начинают под собою землю грызть… Только и слышишь что: Les barbares! L'invasion des barbares»[40]. (Письмо от 14 (26) февраля 1878 года.)

В первый раз он ощутил свое одиночество, свое странное положение среди нации, симпатия которой была необходима ему. Что станет с ним, с тем, кто может жить лишь несколько месяцев подряд на родине, если Франция станет ненавидеть русских? Находясь одновременно в двух лагерях, разделенных границей, он сомневался в своем европейском будущем и не имел сил ни остаться во враждебном климате, ни покинуть страну, где бы он хотел провести последние дни своей жизни.

Деньги из России приходили нерегулярно. По всей видимости, управляющий, занимавшийся делами в Спасском, воровал. Чтобы поправить положение, Тургеневу пришлось продать часть своих картин в салоне Друо. Его хорошо знали в этом заведении, где в те времена, когда был богат, он покупал картины и сувениры. Завсегдатаи прозвали неискушенного в области искусства Тургенева «мсье Гого». Результаты продаж оказались ничтожными. «Хотя я вовсе не разоренный человек, однако делишки мои настолько крякнули, что я действительно вынужден продать свою галерею. Я это совершил, – писал он Полонскому, – и потерпел поражение вроде Седана: полагал потерять на них 6000 фр., а потерял целых 12000… Черт с ними и с картинами! (Руссо своего я, однако, не продал.)» (Письмо от 17 (29) апреля 1878 года.)

Среди этих забот – большая радость: первое после разрыва письмо Толстого. «Иван Сергеевич, – писал он, – в последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к Вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы в Вас было то же самое. По правде сказать, зная, как Вы добры, я почти уверен, что Ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего. Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руки, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед Вами. Мне так естественно помнить о Вас только одно хорошее, потому что хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что Вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как Вы любили и мое писание, и меня. Может быть, и Вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренно любил Вас. Искренно, если Вы можете простить меня, предлагаю Вам всю ту же дружбу, на которую я способен. В наши года есть только одно благо – любовные отношения с людьми. И я буду очень рад, если между нами они установятся». (Письмо от 6 (18) апреля 1878 года.)

Читая это трогательное послание, Тургенев прослезился. После семнадцати лет ненависти Толстой протягивал ему руку. Такой переворот был в характере хозяина Ясной Поляны, скорого

на гнев, на раскаяние, на самоуничижение. В этой бурной исповеди говорила русская кровь. Никто из французских друзей Тургенева не был способен, думал он, на такое благородное безрассудство. Он ответил: «Любезный Лев Николаевич, я только сегодня получил Ваше письмо, которое Вы отправили poste restante[41]. Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к Вам: если они и были, то давным-давно исчезли – и осталось одно воспоминание о Вас, как о человеке, к которому я был искренно привязан – и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений. Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию – и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю Вам всего хорошего – и еще раз дружески жму Вам руку». (Письмо от 8 (20) мая 1878 года.)

Спустя несколько дней честолюбию Тургенева польстили еще раз. Его избрали вице-президентом Международного литературного конгресса, который проходил в Париже. Президентом его был Виктор Гюго. 4 июня 1878 года Тургенев произнес перед собравшимися собратьями речь на французском языке, в которой приветствовал вклад французской культуры в русскую: «Двести лет назад, еще не очень понимая вас, мы уже тянулись к вам; сто лет назад мы были вашими учениками; теперь вы нас принимаете как своих товарищей». Его длинные серебряные волосы, безупречный фрак, пенсне, его легкий русский акцент привели в восторг присутствовавших. Его встретили овацией. Часть его произведений была уже переведена во Франции, Англии, Германии, газеты писали о нем с уважением. Его выступление на Международном литературном конгрессе должно было бы быть логически расценено соотечественниками как честь, которую воздавала Европа России. Разве, избрав его вице-президентом, участники конгресса не поставили его на один уровень с Виктором Гюго? Оба писателя предстали перед аудиторией рядом как два патриарха литературного мира. Они символизировали интеллектуальное согласие, невзирая на границы. Однако газеты в России обрушились на своего представителя на конгрессе, который вместо того, чтобы прославлять специфичность русской литературы, провозгласил себя, по их мнению, должником французской. Его упрекали в том, что, желая угодить, он

принижал свою страну в глазах заграницы и не называл ни Толстого, ни Островского, ни Некрасова, ни Салтыкова-Щедрина среди великих русских писателей века. В который раз Тургенев почувствовал, что свои не поняли его. Что бы он ни делал, что бы ни говорил – его преследовала толпа хулителей. Уязвленный, он написал Топорову: «Если б я мог предвидеть тот ливень грязи, которую выпустили на меня мои соотечественники по поводу невиннейшей речи, произнесенной мною, я бы, конечно, не участвовал в этом деле, из которого, впрочем, ничего не вышло». (Письмо от 22 июня (4) июля 1878 года.)

Несмотря на эти новые недоразумения, связанные с выступлением прессы его страны, он 21 июля 1878 года отправился в Россию. После кратких остановок в Санкт-Петербурге и Москве он 8 августа отправился в Ясную Поляну к Толстому. Толстой со своим шурином Степаном Берсом приехал встречать его на вокзал в Туле. Писатели по-братски обнялись и сели в экипаж. В Ясной Поляне жена Толстого Софья Андреевна была покорена этим стариком-гигантом, эстетом с белоснежными волосами, добрыми печальными глазами, мягкими манерами. Дети восхищались дорожными чемоданами путешественника, замшевым жилетом, шелковой рубашкой, кашемировым галстуком, мягкими кожаными ботинками, его золотыми часами и табакеркой. За столом он с удовольствием рассказывал о легкомысленной и быстротечной жизни Парижа, о своих отношениях с французскими писателями и о своем шале в Буживале. Его высокий голос контрастировал с могучей фигурой. Рядом с ним Толстой казался маленьким, коренастым грубым мужиком, удивительно молодым в свои пятьдесят лет. Явно он делал усилие, желая быть любезным с этим парижанином, который считал себя русским. Вдруг, заметив, что за столом сидят тринадцать человек, Тургенев воскликнул: «Кто боится смерти, подними руку!» И сам, смеясь, поднял руку. Никто не осмелился последовать за ним, заботясь об уважении христианских чувств хозяина дома. «Кажется, я один!» – продолжил Тургенев. Тогда из вежливости Толстой в свою очередь поднял руку и пробормотал: «И я не хочу умирать!» Затем, чтобы сменить тему разговора, спросил у своего гостя: «Почему вы не курите, ведь когда-то вы курили?» – «Да, – ответил Тургенев. – Но в Париже две прекрасные барышни объявили однажды, что если от меня будет пахнуть табаком, то они не позволят целовать их; с тех пор я бросил курить». С плохо скрываемым неодобрением Толстой ответил холодным молчанием.

После обеда писатели ушли в кабинет, чтобы поговорить. В

молчаливом согласии они ни словом не обмолвились о ссоре, которая разделила их. Однако даже в разговорах о литературе и философии они довольно скоро разошлись. Тургенев не был верующим и считал, что искусство является ценностью само по себе. Для него служение красоте и правде было достаточным для того, чтобы оправдать жизнь человека. Для Толстого произведение лишь тогда имело цену, когда оно служило моральному выздоровлению читателя. Он старался объяснить это своему изысканному гостю и раздражался оттого, что не мог убедить его. Тургенев, начавший недавно писать короткие прелестные стихотворения в прозе, все больше и больше убеждался, что чистота стиля и правда описания были главными качествами современного писателя. Он был близок в этом с Флобером. Чем более грубый, резкий Толстой превозносил необходимость социальной миссии литературы, тем более учтивый и деликатный Тургенев хвалил тактичную, отличавшуюся чувством меры, умную литературу.

Так как стояла хорошая погода, они вышли в сад, где их почтительно и с нетерпением ждала семья. Рядом с домом стояли качели – лежавшая на полене доска. Чтобы позабавить детей, оба мужчины сели каждый на свой конец доски и принялись раскачиваться. Один поднимался – другой опускался, и так далее. Тургенев, должно быть, спрашивал себя: нет ли скрытого символического значения в этом попеременном балансировании двух писателей на глазах у молодого поколения? После этого развлечения они отправились на прогулку по окрестностям. Тургенев, страстно любивший природу, различал по голосу каждую птицу. «Это поет овсянка, – говорил он, – это – коноплянка, это – скворец». Толстой удивил его своим пониманием животных. Так, остановившись около старой лошади, которая одиноко щипала траву, он погладил ее по холке и тихо поговорил с ней. В то же время он объяснял Тургеневу, что, как он думал, должно было чувствовать животное. «Я положительно заслушался, – расскажет Тургенев. – Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: „Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью“». (П. Сергеенко. «Толстой и его современники».)

Вечером Тургенев прочитал вслух перед собравшейся в гостиной семьей свой рассказ «Собака». Когда он замолчал, похвалы прозвучали неискренне. Толстой сомневался в таланте писателя. Несмотря на все старания Тургенева быть любезным, он не мог простить ему его странный западный вид, отсутствие интереса к религиозным проблемам и непринужденность

разговора.

Тургенев, напротив, не почувствовав агрессивного настроения хозяина дома, написал ему, вернувшись к себе в Спасское: «Не могу не повторить Вам еще раз, какое приятное и хорошее впечатление оставило во мне посещение Ясной Поляны и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто бы их никогда и не было. Я почувствовал очень ясно, что жизнь, состарившая нас, прошла для нас недаром и что – и Вы, и я – мы оба стали лучше, чем 16 лет тому назад… Нечего и говорить, что на возвратном пути я снова – всенепременно – заверну к Вам… На меня этот раз Спасское произвело какое-то неопределенное впечатление: ни грустное, ни веселое – словно недоумение нашло на меня – еще признак старости». (Письмо от 16 (26) августа 1878 года.)

2 сентября 1878 года Тургенев на три дня вернулся в Ясную Поляну, по-прежнему наивно полагая, что хозяин был рад вновь увидеться с ним. Он пишет Фету: «Мне было очень весело снова сойтись с Толстым… Все его семейство очень симпатично; а жена его – прелесть. Он сам очень утих и вырос. Его имя начинает приобретать европейскую известность… Нам, русским, давно известно, что у него соперника нет». (Письмо от 30 сентября (12) октября 1878 года.)

Толстой, казалось, был менее вдохновлен. На следующий после отъезда Тургенева день он доверительно писал тому же Фету: «Тургенев все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна». (Письмо от 5 (17) сентября 1878 года.) А со Страховым делился: «Тургенев был опять так же мил и блестящ; но, пожалуйста, между нами, немножко как фонтан из привозной воды. Все боишься, что скоро выйдет и кончено». (Письмо от 5 (17) сентября 1878 года.)

Тургенев, который некогда резко критиковал «Войну и мир», после нового прочтения признал, что это произведение должно остаться в истории. С возродившимся восхищением и дружескими чувствами он принялся по возвращении во Францию содействовать международному признанию своего соотечественника. Для начала он объявил ему об успешном переводе «Казаков» на английский язык и сожалел о неудачной публикации этой повести на французском языке в «С.-Петербургской газете» в переложении баронессы Менгден. Это последнее обстоятельство не вызывало его большого неудовольствия, ибо он сам собирался переводить «Казаков» вместе с Полиной Виардо. «Не знаю, приняли ли Вы какие-либо меры для отдельного издания здесь в Париже, – писал он Толстому, – но во всяком случае предлагаю свое посредничество… Мне будет очень приятно содействовать

ознакомлению французской публики с лучшей повестью, написанной на нашем языке». (Письмо от 1 (13) октября 1878 года.)

Его письмо пришло некстати, так как Толстой переживал с некоторых пор кризис мистического смирения и публично объявлял, что желает отказаться от всего, что он до сих пор написал. В крайнем раздражении он ответил своему благожелателю. «Как я ни люблю вас и верю, что вы хорошо расположены ко мне, мне кажется, что вы надо мной смеетесь. Поэтому не будем говорить о моих писаньях. И вы знаете, что каждый человек сморкается по-своему, и верьте, что я именно так, как говорю, люблю сморкаться». (Письмо от 27 октября (8) ноября 1878 года.) Удивленный такой реакцией, в которой желчная скромность соседствовала с необузданной гордостью, Тургенев ответил: «Хоть Вы и просите не говорить о Ваших писаниях – однако не могу не заметить, что мне никогда не приходилось „даже немножечко“ смеяться над Вами; иные Ваши вещи мне нравились очень, другие очень не нравились, иные, как напр. „Казаки“, доставляли мне большое удовольствие и возбуждали во мне удивление. Но с какой стати смех? Я полагал, что вы от подобных „возвратных“ ощущений давно отделались». (Письмо от 15 (27) ноября 1878 года.)

Это учтивое, но непреклонное послание сильно задело Толстого. Он сказал Фету: «Вчера получил от Тургенева письмо. И знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный». (Письмо от 22 ноября (2) декабря 1878 года.) Соотнося Тургенева с «грехом», он давал себе хороший повод осуждать этого человека, самый вид которого был ему неприятен. А тот тем временем продолжал трудиться во Франции, содействуя признанию того, кого считал своим другом. В 1879 году он поехал в провинцию с едва вышедшим во французском переводе романом «Война и мир», развез тома самым знаменитым критикам (Тэну, Эдмону Абу…), стучал во все двери, руководил триумфом. «Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту Вашей эпопеи, – писал он Толстому. – Я на днях в 5-й и 6-й раз с новым наслажденьем перечел это Ваше воистину великое произведение. Весь его склад далек от того, что французы любят и чего они ищут в книгах; но правда, в конце концов, берет свое. Я надеюсь если не на блестящую победу – то на прочное, хотя и медленное, завоевание». (Письмо от 28 декабря 1879 года (8) января 1880 года.) И переслал ему копию очень лестного письма по поводу «Войны и мира», которое получил от Флобера. «Высший класс! – писал Флобер. – Великолепный живописец и психолог!»

В который раз похвалы пришлись некстати. Толстого уже

достаточно за это хвалили. Он отвернулся от сочинительской тщеты, чтобы посвятить себя изучению религии. Однако, склонный и инакомыслию, одиночеству и властности, он не столько хотел приблизиться к церкви, сколько бравировать ее учениями и обрядами. Тургенев не преминул понять, что Толстой вновь отдалился от него. Он испытал чувство грусти, но сохранил все свое восхищение этим великим несговорчивым человеком.

Еще одним человеком, психология которого смущала Тургенева, был революционер Лавров, сочетавший в себе смелость и наивную доброту. «Это голубь, который всячески старается выдать себя за ястреба, – писал он Анненкову. – Надо слышать, как он воркует о необходимости Пугачевых, Разиных… Слова страшные – а взгляд умильный и улыбка добрейшая – и даже борода – огромная и растрепанная – имеет ласковый и идиллический вид». (Письмо от 28 декабря 1878 (9) января 1879 года.)

В России тем временем умы настроены против правительства, заключившего берлинский договор, который в июле 1878 года положил конец русско-турецкой войне. Общественное мнение расценило этот договор как пощечину России. Почему отдали Австрии славянские провинции Боснии и Герцеговины? Почему разделили Болгарию? Почему не позволили армии войти в Константинополь? Военные обвиняли дипломатов в том, что незаконно лишили их собственных побед. Пресса метала громы и молнии против Германии и Англии, которые предали Россию. Молодые интеллектуалы все более и более склонялись к дискредитации власти, проигрыши которой на международной арене обостряли проблемы во внутренней политике. Эти молодые вольнодумцы пугали Тургенева, однако он испытывал непреодолимую симпатию к их смелости. Дорого заплатил бы он, чтобы завоевать их доверие. Однако он не интересовал их. Было ясно – его время прошло.

Когда он оборачивался на свой жизненный путь, он тем не менее не мог не позволить себе некоторую гордость. В своих романах он, как никто другой, описал природу, создал незабываемые по своей рельефности характеры, дал каждому герою отвечавшую его характеру и положению речь. Возможно, его герои слишком много рассуждали о своем душевном состоянии? Это была русская болезнь. И потом, все это покоилось в музыке легкого стиля. Нет, он не провинился перед родиной. Однако он считал себя ниже Толстого. Это не было смирением, но результатом спокойной осознанности. При случае и он умел показать себя строгим. Говоря о романах Золя и Эдмона де Гонкура, он объявлял Салтыкову-Щедрину: «Идут они не по

настоящей дороге – и уж очень сильно сочиняют. Литературой воняет от их литературы». И в том же письме, упоминая «Подростка» Достоевского: «Я заглянул было в этот хаос: боже, что за кислятина, и больничная вонь, и никому не нужное бормотанье, и психологическое ковыряние!!» (Письмо от 25 ноября (7) декабря 1875 года.)

В начале 1879 года он получил известие, которое глубоко опечалило его. 7 января умер его старший брат Николай. Воспоминания о юности сближали их. Воспоминания об их борьбе с ревнивой матерью. Однако они со временем охладели по отношению друг к другу. Освободившись от власти матери, Николай оказался во власти своей жены – Анны Яковлевны, а Иван – Полины Виардо. Обе женщины были наделены твердым характером и огненным темпераментом. И одна и другая, может быть, заменили братьям Тургеневым жестокую Варвару Петровну их детства. Анна Яковлевна умерла раньше мужа. Со смертью Николая Тургенев особенно остро ощутил дыхание небытия. Он переживал в это время тяжелый приступ подагры. «Вот уже две недели, как в меня опять вцепилась подагра – и лишь со вчерашнего дня я начал ходить по комнате, разумеется, при помощи костылей, – писал он Флоберу. – Вчера я получил известие о смерти моего брата; для меня это большое личное горе, связанное с воспоминаниями о прошлом. Мы виделись с ним очень редко – и между нами не было почти ничего общего… однако брат… иногда это даже меньше, чем друг, но все же нечто совсем особое. Не такое сильное, но более близкое. Мой покойный брат был человеком несметно богатым – но все свое состояние он оставил родственникам жены. Мне же (как он мне писал) он отказал 250 000 франков (это приблизительно одна двадцатая часть его состояния) – но так как люди, окружавшие его в последнее время, весьма смахивают на мошенников – мне, видимо, придется немедленно отправиться на место действия – наследство моего брата может очень легко испариться». (Письмо от 9 (21) января 1879 года.)

Месяц спустя он с неохотой отправился в дорогу, в Россию, где, думал он, его ждали только серьезные финансовые неприятности и, возможно, литературные разочарования.

Глава XIII
Слава

Сразу же по приезде в Москву Тургенев должен был пойти на обед, организованный в его честь Максимом Ковалевским, главным редактором «Критического обозрения». За столом собралось около двадцати сотрудников издания. Первый тост произнес хозяин встречи, который приветствовал своего знаменитого гостя – «любящего и снисходительного наставника юности». Эти слова удивили Тургенева. До сих пор он считал, что молодое поколение пренебрегало его творчеством. И вдруг ему говорят о его влиянии на завтрашнюю Россию. Были произнесены другие речи. Все отмечали то важное место, которое автор «Дыма» занял в национальной литературе. Во время обедов у Вуазена или в Вефуре он был счастлив, слушая похвалы своих французских друзей. Но на этот раз его поздравляли его соотечественники на русской земле, на русском языке. Слезы неожиданно накатились на глаза.

Вернувшись к себе, он постарался успокоиться, убеждая себя, что подобный поворот общественного мнения был невозможен и что любезность Максима Ковалевского была преувеличенной. Однако следующие дни подтвердили эту демонстрацию запоздалой победы. 18 февраля 1879 года, когда он вошел в зал, где проходило заседание «Общества любителей российской словесности», его приветствовали продолжительной овацией. От имени собравшихся к нему обратился восторженный студент Викторов: «Вас приветствовал недавно кружок молодых профессоров. Позвольте теперь приветствовать вас нам, – нам, учащейся русской молодежи, – приветствовать вас, автора „Записок охотника“, появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения». Взволнованный Тургенев скромно поблагодарил несколькими словами. Эта скромность разожгла энтузиазм аудитории. Расталкивая друг друга, студенты мчались по ступенькам, обнимали Тургенева, оглушали его криками. Толпа орущих обожателей сопровождала его до дома. «Третьего дня, – писал он Топорову, – в заседании любителей русской словесности студенты мне такой устроили небывалый прием, что я чуть не одурел – рукоплескания в течение пяти минут, речь, обращенная ко мне с хоров, и пр., пр. Общество меня произвело в почетные члены. Этот возврат ко мне молодого поколения очень меня порадовал, но и взволновал порядком». (Письмо от 20 февраля (4) марта 1879 года.) Порой ему казалось,

что Россия раскаивалась в том, что не признавала его, что плохо относилась к нему на протяжении многих лет и что он, наконец, получает вознаграждение за свои усилия. На самом деле эта неожиданная популярность отвечала изменившимся настроениям молодых русских интеллектуалов. Увлекшись на мгновенье идеей революции, они в большинстве своем теперь не одобряли действий террористов. Непримиримость экстремистов пугала их. Принизив когда-то Тургенева, они теперь видели в нем представителя доброй либеральной традиции. Человек меры и благородства, он был сторонником конституции, он осуждал и варварские покушения, и их неизбежное следствие – беспощадные репрессии, он жертвовал собой ради политических эмигрантов, он мечтал об установлении в России справедливого строя, основанного на участии народа в делах государства. Все это отвечало устремлениям большинства просвещенных граждан. Кроме того, благодаря прекрасным, хотя плохо принятым критикой книгам, он, сам не зная того, стал классическим автором. Некоторые его произведения, такие, как «Записки охотника», «Дворянское гнездо», «Рудин», «Отцы и дети», «Дым», прочно вошли в сознание нации.

Теперь квартиру, где он жил, каждый день осаждали посетители: студенты, актеры, члены английского клуба, учащиеся консерватории… Все говорили лестные слова, просили автографы. Среди посетителей было много восторженных девушек, которые узнавали себя в его героинях. Чтобы ответить на это широкое проявление интереса, он 4 марта 1879 года отправился на концерт, который давался в пользу нуждающихся студентов. Новые овации, новая речь желанного гостя. Молодой оратор приветствовал его как одного из первых, кто «проникся глубоким чувством к угнетенному народу». Тургенев ответил: «Для писателя стареющего, уже готовящегося покинуть свое поприще, это сочувствие, так выраженное, есть, скажу прямо, величайшая, единственная награда, после которой уже ничего не остается желать. Оно доказывает ему, что жизнь его не прошла даром, труды не пропали, брошенное семя дало плод».

8 марта он, усталый и счастливый, выехал в Санкт-Петербург. Там также его ждали пиршества, речи, собрания поклонников в его гостиничном номере. Какие-то девушки говорили ему с восторгом о «Нови», в то время как, вне всякого сомнения, менее двух лет назад они проклинали этот «антиюношеский роман». Не щадя своих сил, он отвечал на тосты, подписывал книги, читал отрывки из своих произведений на благотворительных вечерах. «Чтения, овации и т. д., – писал он Любови Стечкиной, – продолжаются и здесь, как в Москве; но, между нами, как я им ни

рад, а вздохну свободно, когда они кончатся, и я снова попаду в свое тихое гнездышко». (Письмо от 14 (26) марта 1879 года.)

В Санкт-Петербурге Александринский театр поставил его старую пьесу «Месяц в деревне». Вдохновительницей этой постановки была молодая актриса Мария Гавриловна Савина. Она исполняла роль Верочки. Тургенев беспокоился. Подходящий ли момент для того, чтобы предлагать публике этот вымысел времен его молодости? В действительности это произведение с его героями, живущими глубокой внутренней жизнью: Натальей Петровной, беспокоящейся за своего отца, невинной и нежной Верочкой, не понимающей равнодушия окружающих, очаровательным студентом Беляевым, странным доктором Шпигельским, который внимательно наблюдает за хозяевами и слугами и предвидит пробуждение пролетариата, – это произведение, несколько отягощенное длинными монологами, было ценно прежде всего непосредственностью своих героев и атмосферой давно забытого юношеского очарования, в котором развивалась интрига.

Узнав о приезде Тургенева в столицу, Мария Савина испытала чувство радости и тревоги. Что подумает он о ее версии спектакля? В гостиницу «Европейская», где он остановился, она отправилась с замирающим сердцем. В комнату вошла невысокая молодая женщина лет двадцати пяти, с умным лицом, живая, которая тотчас нарушила спокойствие Тургенева. Она в свою очередь была покорена этим убеленным сединой стариком, который встретил ее как ребенка. «Это был такой симпатичный, элегантный „дедушка“, – напишет позднее Савина, – что я сразу освоилась и, забыв свой страх перед Тургеневым, заговорила как с обыкновенным смертным». (М. Савина. «Мое знакомство с Тургеневым».) Она пригласила его на постановку пьесы. 15 марта он устроился в глубине директорской ложи театра и с восторгом следил за спектаклем. Большая часть актеров казалось ему превосходной. Но Мария Савина своей естественной и тактичной игрой превзошла всех. После второго акта несколько зрителей, узнав Тургенева в тени директорской ложи, стали вызывать автора аплодисментами. Мария Савина выбежала со сцены и вернулась, ведя за руку ошеломленного, смущенного человека, который приветствовал зал, улыбаясь и сдерживая слезы. Перед ним толпа незнакомых людей аплодировала и выкрикивала его имя. В антракте он нашел Савину в ее гримерной, взял за руки, посмотрел внимательно в лицо при свете газовой лампы и задумчиво прошептал: «Верочка… Неужели эту Верочку я написал?!. Я даже не обращал на нее внимания… Все дело в Наталье Петровне… Вы живая Верочка… Какой у вас большой

талант». За кулисами театра, рядом с красивой актрисой он почувствовал волнение, которое испытал когда-то рядом с Полиной Виардо. Яркий свет, запах грима, суета, смех, молодые лица – все здесь, как когда-то, покорило его. Рядом с этой молодостью он удивился тому, что забыл о своем возрасте. На следующий день Тургенев согласился пойти с Савиной на вечер «Литературного фонда». Они должны были читать в два голоса сцену из комедии Тургенева «Провинциалка». Тургенев читал очень плохо, бормоча в бороду. Однако успех был огромным. В конце гром аплодисментов приветствовал автора. В тот же вечер он передал Савиной свою фотографию со следующей надписью: «На память о нашем совместном чтении с искренним почитанием. И. Тургенев». Узнав о триумфе своего великого друга, Полина Виардо забеспокоилась. Русские, встретив восторженно, могут оставить Тургенева в России. Но она нуждалась в том, чтобы он был рядом с ней, чтобы ее «дом», ее семья были полными. Она даже втайне ревновала, зная, что им восторгалось столько незнакомых людей, среди которых были, конечно, и женщины гораздо моложе нее. «Ведь вы не покинете нас? – писала она ему 13 марта 1879 года. – Вы будете скучать в Париже, когда вокруг вас не будет этого лихорадочного восхищения… У вас никогда не достанет сил оторваться от всей этой молодежи, которая пляшет и скачет вокруг вас». Однако никакая сила на свете не могла удержать Тургенева в России. Когда он 21 марта 1879 года уехал во Францию, в своем сердце он увозил память о том, что достиг – чудом – уважения своих соотечественников, и открыл в себе поздно новую и нежную страсть к женщине – Марии Савиной.

В Париже французские друзья встретили счастливого и помолодевшего от успеха Тургенева. Однако, чувствуя, что в полной мере помирился с Россией, он все больше и больше беспокоился за насилия, которые потрясали ее. Узнав о том, что 2 апреля 1879 года революционер-народник Соловьев пытался убить царя, он боялся, как бы власть не использовала этот единичный факт для того, чтобы отказаться от всяких реформ. «Последнее безобразное известие меня сильно смутило, – писал он Полонскому, – предвижу, как будут иные люди эксплуатировать это безумное покушение во вред той партии, которая, именно вследствие своих либеральных убеждений, больше всего дорожит жизнью государя, так как только от него и ждет спасительных реформ: всякая реформа у нас в России, не сходящая свыше, немыслима. <<…>> Одна надежда на спокойный дух и благоразумие самого государя. Очень я этим взволновал и огорчен… вот две ночи, как не сплю: все думаю, думаю – и ни до чего додуматься не могу». (Письмо от 5 (17)

апреля 1879 года.)

Тем временем слава его росла даже за границей. Оксфордский университет наградил его дипломом доктора гражданского права, и он отправился в Англию на церемонию вручения. «Нас было девять новых докторов в красных хитонах и четвероугольных шапках, – писал он Анненкову, – народу было пропасть – особенно дам – в круглой зале с куполом, где эти „commemorations“[42] происходят. <<…>> Не могу довольно нахвалиться ласковым приемом гг. англичан». (Письмо от 12 (24) июня 1879 года.) Позднее, посылая свою фотографию Маслову, он напишет: «Ох, как плохо идет ученая шапка к моей великорусской роже!» (Письмо от 5 (17) октября 1879 года.)

Во Франции он был удостоен знака отличия за заслуги в народном просвещении, что показалось ему забавным. «Кажется, это дает право носить фиолетовый бант; фиолетовый, а не красный, – писал Тургенев Каролине Команвиль, племяннице Флобера. – Я прицеплю его на ярко-красную мантию доктора Оксфордского университета. Эти два цвета прекрасно подойдут друг другу». (Письмо от 14 (26) апреля 1879 года.)

Эти чествования отвлекли Тургенева от главной его заботы: настоящее вдохновение не приходило. Продолжая писать легкие стихотворения в прозе, он правил текст полного собрания своих сочинений. «Я совсем заржавел, – делился он с Анненковым, – перо не слушается – и мозги очень скоро устают». (Письмо от 27 августа (8) сентября 1879 года.) И о том же Вольфу: «Я отказался от литературной деятельности – и даже отвык от пера». (Письмо от 27 октября (8) ноября 1879 года.) И, наконец, своему другу Пичу: «Хотят получить от меня что-нибудь новое – а у меня нет ни *нового,* ни старого. Слава богу, я больше не пишу». (Письмо от 31 октября (12) ноября 1879 года.) Взамен он много читает. Его литературные суждения оставались по-прежнему строгими. Он боялся, как бы Толстой не оказался слишком простым и слишком правдивым для того, чтобы понравиться французским читателям. Последний роман Доде «Короли в изгнании» показался ему приличным, но более слабым, чем предыдущие. Что касается «Нана» Золя, то, несмотря на дружеские чувства к писателю, он нашел книгу несносной. «Кажется, я никогда не читал ничего столь непроходимо *скучного,* как „Нана“ (это – между нами), – писал он Флоберу. – Какая убийственная пошлость, какое нестерпимое обилие мелочей; нескольких крепких словечек, равно как и немногих крупиц поэзии, явно недостаточно для того, чтобы заглушить отвратительный вкус этого варева». (Письмо от 25 октября (6) ноября 1879 года.) Он равно был в курсе всего, что публиковалось в России, включая подрывные брошюры.

Принципиально враждебный к террористам, он тем не менее не переставал участвовать в облегчении судьбы тех из них, кто был арестован. Эта двойная позиция, состоявшая в «заигрывании» с экстремистами и открытом возмущении их злодеяниями, – беспокоила русские власти.

В октябре 1879 года он написал письмо-предисловие к французскому переводу рассказа «В одиночном заключении. Впечатления нигилиста» – революционера Павловского, бежавшего некоторое время назад из России. Представляя работу, он отмежевывался от автора, однако оценивал его трогательный жизненный опыт с гуманной точки зрения. «Нисколько не одобряя этих убеждений, я полагаю, что простодушный и искренний рассказ о том, что он перенес, мог бы не только возбудить интерес к его личности, но и служить доказательством того, насколько не может быть оправдано предварительное одиночное заключение в глазах разумного законодательства».

Это предисловие появилось в парижской газете «Тан» 12 ноября 1879 года. Едва появившись в России, оно вызвало волну протестов. Консерваторы увидели в нем одобрение преступных происков нигилистов, а либералы обвинили Тургенева в том, что бесчестил себя ради того, чтобы завоевать благосклонность революционной молодежи. Удивленный силой реакции, он попытался оправдаться в письмах к друзьям и редакторам русских газет. Однако никто не понял, что он проявил толерантность, прощая по-человечески действия, которые как гражданин осуждал. Несколько недель спустя он повторил этот двойственный демарш, рекомендовав Золя для газеты «Вольтер» роман революционера Ашкинази «Жертвы царя». Этот роман, неблагожелательный по отношению к самодержавному строю, равно не соответствовал умеренным убеждениям Тургенева; он пояснил автору, что поддержал его из духовного великодушия: «Я не сочувствую направлению Вашего произведения, – писал ему Тургенев, – но так как я старый либерал не на одних только словах – то уважаю свободу убеждений, даже противных моим, – и не только не почитаю себя вправе стеснять их выражение – но не вижу причины уклоняться или способствовать к тому, чтобы они высказались – особенно когда дело идет о литературном произведении. << … >> Я не принадлежу к той школе, которая полагает, что надо стараться утаить шило в мешке; напротив, пусть оно выйдет наружу. И вот почему я, постепеновец, не обинуясь, готов помочь появлению произведения, написанного революционером». (Письмо от 12 (24) января 1880 года.) Граф Орлов, посол России во Франции, дал Тургеневу знать, что на его интерес к умалишенным очень плохо смотрели в высших кругах.

Это было некстати, так как Тургенев собирался на довольно долгое время вернуться в Россию. «Но отнюдь не для того, чтобы там работать, – писал он Флоберу, – а просто, чтобы << … >> подышать *родным воздухом*». (Письмо от 18 (30) августа 1879 года.) Тем не менее он решился уехать только в конце января 1880 года.

Перед отъездом он собрал своих друзей – Гонкура, Золя и Доде – на прощальный ужин в кафе Риш. «На этот раз он уезжает на родину, озабоченный неприятным чувством неопределенности и неуверенности», – пометит в своем дневнике Эдмон де Гонкур. (Гонкур. Дневники. 1 февраля 1880 года.) В разгар ужина Тургенев рассказал, что однажды ночью он испытал сердечное недомогание и что в полусне отчетливо видел на стене коричневое пятно, которое было знаком смерти. Конец праздника был мрачным, каждый говорил о своих болезнях и предчувствиях.

Три дня спустя с тревогой в сердце Тургенев покинул Париж и отправился в Санкт-Петербург. Там продолжительный приступ подагры помешал встретиться с друзьями, в особенности с молодой Марией Савиной. Больной, в сумрачном настроении, он отправился в Москву. Город лихорадочно готовился к предстоящим по случаю открытия памятника Пушкину торжествам. Как всегда, интеллектуалы были разделены на два лагеря. Западники чествовали в Пушкине великого европейца. Славянофилы утверждали, что его вдохновение имело русское происхождение. Конечно, Тургенева, продолжателя пушкинских традиций, попросили взять слово во время церемонии. Программа предполагала участие самых известных писателей эпохи: Тургенева, Толстого, Достоевского, Гончарова, Писемского, Фета, Аксакова, Майкова, Григоровича, Полонского, Островского, Ковалевского… По единодушному мнению, Тургенев был главой течения западников, а Достоевский – славянофилов. В который раз они становились лицом к лицу как два непримиримых врага. А что собирался делать Толстой? Он до сих пор не дал своего согласия. В сознании читателей Толстой, Достоевский, Тургенев были своего рода святой троицей, которая сияла над русской литературой. Они должны все трое присутствовать в Москве, чтобы чествовать своего гениального предшественника. Тургенев поехал в Ясную Поляну, чтобы побудить Толстого совершить путешествие.

Толстой встретил его радушно и тотчас увлек на охоту. Он даже поставил своего гостя на лучшую полянку, через которую должны были тянуть вальдшнепы. Однако тяги не было. Расстроенный Тургенев смотрел в монокль на пустое небо. Софья Толстая, которая осталась вместе с ним, осторожно спросила,

почему он больше не пишет. «Нас никто не слышит? – сказал, грустно улыбнувшись, Тургенев. – Так я вам скажу. Я теперь уже не могу писать. Раньше всякий раз, как я задумывал писать, меня трясла лихорадка любви. Теперь это прошло. Я стар и не могу больше ни любить, ни писать». В это мгновенье раздался сухой выстрел, и Толстой, спрятавшийся в кустах, приказал собаке принести подстреленную дичь. «Началось, – сказал Тургенев. – Лев Николаевич уже с удачей. Вот кому счастье. Ему всегда в жизни везло». (Сергей Толстой. «Очерки былого».) В самом деле, именно в той стороне, где стоял Толстой, летали все вальдшнепы. Тургенев смог подстрелить только одного. Да и тот повис на ветке. Его найдут только на следующий день.

После охоты писатели уединились в избе, обустроенной как рабочий кабинет, которая находилась недалеко от дома, и Тургенев в который раз стал настаивать на том, чтобы Толстой произнес речь на церемонии в память Пушкина. Однако Толстой наотрез отказался. У него, сказал он, страх перед официальными выступлениями. За этим неубедительным объяснением Тургенев угадал боязнь хозяина дома предстать в Москве в своего рода состязании с ним и Достоевским. Прямолинейный в проявлении гордости, автор «Войны и мира» не хотел подвергать себя риску получить меньше аплодисментов, меньше чествований, чем кто-либо из его собратьев. Исчерпав все доводы, Тургенев уложил чемоданы и уехал ни с чем.

Закрывшись в Спасском, он принялся с усилием писать речь о Пушкине. И в самый разгар работы узнал из журналов о смерти Флобера. Эта новость настолько потрясла его, что на несколько часов лишила желания писать. «Удар обрушился на меня самым жестоким образом, – напишет он Золя. – Мне нечего говорить вам о своем горе: Флобер был одним из тех людей, кого я любил больше всего на свете. Ушел не только великий талант, но и необыкновенный человек, объединявший вокруг себя нас всех». (11 (23) мая 1880 года.) И Каролине Команвиль: «Смерть вашего дядюшки была одной из самых больших печалей, какие я испытал в жизни, и я не могу свыкнуться с мыслью, что больше не увижу его. << … >> Это такая скорбь, в которой не хочешь утешиться». (Письмо от 15 (27) мая 1880 года.)

Однако он закончил речь и, сняв траур, вернулся к светлым воспоминаниям о Марии Савиной. Ко дню рождения он подарил молодой женщине маленький золотой браслет с выгравированными на внутренней стороне их именами. Он думал о ней в спасском уединении, как о своей последней сентиментальной удаче. Двадцать пять лет и шестьдесят два года. Их разделял век. Он мог мечтать о ней лишь как о порыве свежего

ветра. Если в реальной жизни он принадлежал Полине Виардо, то в мечтах – Марии Савиной. Он просил у нее одного – позволения жить этой иллюзией как можно дольше. Эта роль поэтического нищенки мучила и в то же время нравилась ему. «Я почувствовал, как я искренне полюбил Вас, – писал он ей, – что Вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я уже никогда не расстанусь». (Письмо от 24 апреля (6) мая 1880 года.) Он пригласил ее в Спасское. Однако она отклонила приглашение. Она должна была ехать в Одессу на гастроли. Ее маршрут пролегал через Мценск и Орел. 16 мая 1880 года Тургенев с юношеским нетерпением отправился на маленький мценский вокзал, чтобы встретить поезд, в котором ехала молодая женщина. Несколько минут остановки в ночи. Тургенев спешно поднялся в вагон. Его встретила улыбающаяся Савина. Он остался рядом с ней в купе до Орла, смотрел на нее, вдыхал аромат ее духов, целовал руки. В Орле предстояло расстаться. В последнюю минуту, на перроне, он пожалел, что не поцеловал ее. Не посмел. В его возрасте смешно, конечно… Она помахала платком из окна. Тургенев сник. Как насмешку судьбы, он осознал эту несбыточную любовь.

Вернувшись в Спасское, он на следующее утро написал ей: «Милая Мария Гавриловна, полтора часа тому назад я вернулся сюда – и вот пишу Вам. Ночь я провел в Орле – и хорошую, потому что постоянно был занят Вами – и нехорошую, потому что глаз сомкнуть не мог. <<…>> Если б Вы были здесь, мы бы теперь сидели с Вами на террасе – любовались бы видом – я бы говорил о разных посторонних предметах – а сам бы мысленно в порыве благодарности постоянно целовал Ваши ножки. <<…>> Когда вчера вечером я вернулся из вокзала – а Вы были у раскрытого окна – я стоял пред вами молча – и произнес слово „отчаянная“… Вы его применили к себе – а у меня в голове было совсем другое… Меня подмывала уж точно *отчаянная* мысль… схватить Вас и унести в вокзал. <<…>> Но благоразумие – к сожалению – восторжествовало – а тут и звонок раздался и – „ciao!“ – как говорят итальянцы. Но представьте себе, что было бы в журналах!! Отсюда вижу корреспонденцию, озаглавленную „Скандал в Орловском вокзале“: „Вчера здесь произошло необыкновенное происшествие: писатель Т. (а еще старик!), провожавший известную артистку С., ехавшую исполнять блестящий ангажемент в Одессе, внезапно, в самый момент отъезда, как бы обуян неким бесом, выхватил г-жу С-ну через окно из вагона, несмотря на отчаянное сопротивление артистки“ и т. д. Каков гром и треск по всей России! А между тем – это висело на волоске… как почти все в жизни». (Письмо от 17 (29) мая 1880 года.)

Два дня спустя в другом письме он признавался Савиной, что даже когда перечитывал черновик речи о Пушкине, в глубине души его «звучала одна и та же нота». «Вдруг, – писал он ей, – замечаю, что мои губы шепчут: какую ночь мы бы провели… А что было бы потом? А Господь ведает!» <<…>> «Вы только напрасно укоряете себя, называя меня „своим грехом“! Увы! Я им никогда не буду. А если мы увидимся через два, три года – то я уже буду совсем старый человек, Вы, вероятно, вступите в окончательную колею Вашей жизни – и от прежнего не останется ничего. <<…>> вся Ваша жизнь впереди – моя позади – и этот час, проведенный в вагоне, когда я чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампады. Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство Вы мне внушили. Влюблен ли я в Вас – не знаю; прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к обладанию – и к отданию самого себя, где даже чувственность пропадает в каком-то тонком огне… Я, вероятно, вздор говорю – но я был бы несказанно счастлив, если бы… если бы… А теперь, когда я знаю, что этому не бывать, я не то что несчастлив, я даже особенной меланхолии не чувствую, но мне глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда, не коснувшись меня своим крылом… Жаль для меня – и осмелюсь прибавить – и для Вас, потому что уверен, что и Вы не забыли того счастья, которое дали бы мне.

Я бы всего этого не писал Вам, если бы не чувствовал, что это письмо прощальное. И не то чтобы наша переписка прекратилась – о, нет! я надеюсь, мы часто будем давать весть друг другу – но дверь, раскрывшаяся было наполовину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно чудесное, захлопнулась навсегда… Вот уж точно, что le verrou est tireé[43]. Что бы ни случилось – я уже не буду таким – да и Вы тоже». В постскриптуме Тургенев добавлял: «Пожалуйста, не смущайтесь за будущее. *Такого* письма Вы уже больше не получите». (Письмо от 19 (31) мая 1880 года.)

В то время как он писал эти отчаянные строчки, Мария Савина готовилась встретиться в Одессе с блестящим офицером Никитой Всеволожским, который настойчиво ухаживал за ней. Тургенев был для нее интеллектуальным другом; Всеволожский – возможным супругом, богатым, красивым и уважаемым молодым человеком. Пожилой писатель инстинктивно вел себя в жизни, как некоторые герои его романов – порывисто, нерешительно и печально. В глубине его души любовь была равнозначна поражению. Поражению, которого он не мог избежать.

Понадобилось большое усилие воли, чтобы оторваться от

мысли о Савиной и вернуться к писательским обязанностям. Так как приближалась дата торжеств в честь Пушкина, он, все еще печальный, переехал в Москву. И тотчас попал в разгар литературных волнений. Антагонизм между западниками и славянофилами настолько обострился, что споры возникали дома. Славянофилы делали ставку на Достоевского, певца традиционных добродетелей нации, в то время как западники, сгруппировавшиеся за Тургеневым, готовили триумф своему главе, набирали добровольцев для клаки, распространяли нужные приглашения.

Утром 6 июня 1880 года представители русских писателей возложили венки к подножию памятника Пушкину. Тургенев был очень взволнован, принимая участие в этом символическом акте. Он знал Пушкина живым, он видел его мертвым в гробу, он носил на груди в медальоне прядь волос, принадлежавших поэту; он смотрел на себя как на его преемника. Некоторое время спустя во время собрания в Московском университете ректор объявил, что он назван почетным членом этого учебного заведения. Собравшиеся в зале студенты встретили овацией общего старого романиста, который склонил под аплодисменты голову. Потом был обязательный банкет в Дворянском собрании. Все тосты звучали в честь Пушкина, однако сердца были разделены. Каждый имел свое представление о значении Пушкина для Родины. Был ли он исключительно русским человеком или же европейцем? Непримиримый славянофил Катков, который нападал в своем журнале на Тургенева, предложил примирение, подняв бокал. Но Тургенев отказался ответить на тост этого приспешника правительственной реакции. Вечером он прочитал с высоты подмостков стихотворение Пушкина. Собравшиеся овацией встретили читавшего неуверенным голосом седовласого писателя, красивое, усталое лицо которого было изборождено морщинами. Достоевскому, следовавшему за ним, также очень аплодировали. «Но, – напишет он жене, – плохо читавшему Тургеневу аплодировали больше».

7 июня в том же Дворянском собрании состоялось торжественное заседание «Общества любителей российской словесности». Тургенев взял слово перед аудиторией, которая в большинстве своем была благосклонна к нему. Устремив взгляды на этого гиганта, элегантного, высокого, приглашенные ожидали, что, чествуя Пушкина, он вызовет патриотический восторг. Однако его речь была очень спокойной. Высоко оценив огромный талант Пушкина, он не посмел приписать ему роль писателя, олицетворяющего гения нации. «Можем ли мы по праву называть Пушкина национальным поэтом в смысле всемирном, как

называем Шекспира, Гете, Гомера? < <…> > – говорил он. – Как бы то ни было, заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку. Он первый воодрузил знамя поэзии в русскую землю».

Его умеренные слова разочаровали немного публику, однако это не помешало ему быть встреченным горячими аплодисментами. Этот незаслуженный успех больно уколол Достоевского. Пушкинские торжества все больше и больше превращались в дуэль двух идей, двух людей. С одной стороны, европейца – образованного, приобщенного к культуре, либерала и скептика; с другой – безраздельно русского, страстного патриота, мечтателя.

На следующее утро 8 июня настал черед Достоевского обратиться с речью к толпе. Он встал перед нею – тщедушный, бледный, взлохмаченный, нервно размахивал руками, говорил срывающимся голосом. И с первых его слов зал был покорен. Взволнованно, убежденно он утверждал, что Пушкин был воплощением национального «гения» и был способен воплотить в себе гений чужого народа. Да, Пушкин выражал Россию в ее всемирном предназначении. И эта Россия, которую он так прекрасно воспел, должна стать духовным лидером морального прогресса. Именно с нее начинается возрождение Европы, ибо она единственная обладала еще первородной христианской верой. Мало-помалу речь становилась проповедью, литературным пророческим учением. По мере того как автор продвигался в мессианской проповеди, наэлектризованная толпа усиливала овации. Когда он, обессиленный, почти потерявший голос, замолчал, она дошла до исступления. Слушатели хлопали, кричали, рыдали. Враги обнимались, клялись забыть былую злопамятность. Девушки поднимались на помост, целовали руки победителя. Группа поклонниц подняла над его головой лавровый венок. Тургенев тоже имел право на традиционный лавровый венок, но он уже знал, что проиграл партию. Зачем он ввязался в это дело? Глубоко любя свою страну, он не принимал патриотических преувеличений. Он слишком хорошо знал Европу для того, чтобы заблуждаться относительно достоинств России. Вне сомнения, его умеренность в искусстве и политике была не по вкусу толпе. Его соотечественники – любители всякого рода преувеличений – не узнавали себя в нем. Более лукавый Толстой был прав, отклонив приглашение, чтобы не присутствовать при короновании Достоевского. «По Вашему желанию посылаю Вам мою речь, – писал Тургенев Савиной, – не знаю, насколько она вас заинтересует (на публику она большого впечатления не

произвела)». (Письмо от 11 (23) июня 1880 года.)

В конце июня 1880 года уставший, разочарованный Тургенев отправился во Францию. На сколько времени еще у него достанет сил курсировать между двумя странами, которые делили пополам его сердце?

Глава XIV
Предчувствия

И вновь Париж, Буживаль, семейство Виардо, французские друзья. Привычные встречи в ресторане в отсутствие Флобера стали грустными. «Нам недоставало его мощного голоса и громкого смеха», – напишет Альфонс Доде. (А. Доде. «30 лет в Париже».) Тургенев, не колеблясь, согласился стать вице-президентом Комитета по установлению памятника Гюставу Флоберу. Он даже начал содействовать тому, чтобы организовать подписку на него в России. Эта инициатива пришлась не по вкусу его соотечественникам. Газеты сочли ее абсурдной, читатели возмутились тем, что он требовал денег для упрочения славы иностранного писателя. Он получил множество анонимных писем. «Ругательные статьи во всех газетах, град анонимных писем и пр. осязательно доказали мне, что, обращаясь к российской публике за несколькими грошами в пользу памятника моему другу Флоберу, я сделал глупость, – писал он Полонскому. – А я беру небо в свидетели, что я не положу этих денег себе в карман, как можно заключить из некоторых намеков моих корреспондентов». (Письмо от 10 (22) декабря 1880 года.) Несколько недель спустя он писал тому же Полонскому: «Продолжаю получать ругательские анонимные письма. <<… >> В последнем меня называют ренегатом, дураком и публичной женщиной. И все это по поводу Флобера!!» (Письмо от 26 января (7) февраля 1881 года.)

В то время как Тургенев писал это письмо, в Петербурге умирал Достоевский. 28 января 1881 года Достоевского не стало. Смерть великого соперника отозвалась в сердце Тургенева сложным чувством реванша и грусти. Он не любил в Достоевском ни человека, ни писателя. Романы Достоевского наводили на него скуку. Его апокалиптическое учение казалось ему пагубным и причудливым одновременно. Тем не менее он вынужден был признать, что это хаотичное, безумное, далекое от настоящего искусства творчество затронуло чувства русской публики. Оно было антиподом его собственного творчества, исполненного нюансов, загадок и ностальгии. Хотел он того или нет – мир Достоевского, философия Достоевского, с которыми приходилось считаться, даже если к ним относишься враждебно, уже существовали. Скрепя сердце он согласился написать для «Вестника Европы» некролог на смерть собрата, которого ненавидел при жизни, и равно на смерть умершего несколькими

днями ранее писателя Писемского. Однако скоро отказался от этого неблагодарного дела. «От меня ожидают не литературных воспоминаний о моих отношениях с двумя покойными писателями – а оценки их, – писал он Пыпину, редактору „Вестника Европы“. – Но, во-первых, это очень трудно именно для меня – а во-вторых, я боюсь, что публике, при ее теперешнем настроении, неизбежно придет в голову, что я опять ухватился за случай заявить о себе, о своем существовании и т. д.». (Письмо от 6 (18) февраля 1881 года.)

Он равно отказался присутствовать на грандиозной манифестации, которая должна была пройти перед домом Виктора Гюго 26 февраля 1881 года по случаю приближающегося восьмидесятилетия поэта. Тургенев объяснил отказ приступом подагры. Однако на самом деле ему претило участие в публичном чествовании, которое он считал преувеличенным и нелепым. «Впрочем, я и здоровый бы в ней не участвовал. Хорошо французам нянчиться с своим идолом… а нам-то с какой стати?» – писал он Стасюлевичу. (Письмо от 15 (27) февраля 1881 года.) Он говорил неоднократно о своем отношении к Гюго-романисту и, в частности, Аделаиде Луканиной, с которой встретился в Париже: «„Отверженные“. Какая это ложь! Везде ложь, от начала до конца все фальшиво, все высказываемые чувства от первого до последнего… Нет, в нашей литературе вы этого не найдете. Наш вымысел беден, мы часто скучны, но мы не настолько отдаляемся от жизненной правды, как французы». И в подтверждение своей мысли процитировал слова Проспера Мериме: «Русское искусство через правду дойдет до красоты». (А. Луканина. «Мое знакомство с И.С. Тургеневым».) С той же точки зрения он рекомендовал Стасюлевичу произведения Мопассана: «Изо всей молодой школы романистов во Франции самый талантливый г. де Мопассан, автор „Boule de Suif“»[44]. (Письмо от 25 февраля (9) марта 1881 года.)

Среди этих привычных занятий новое потрясение: известие об убийстве царя Александра II, который был разорван бомбой 1 марта 1881 года в то время, когда возвращался со смотра в Михайловском манеже. Убийство государя, освободившего крепостных и обещавшего конституцию России, было в глазах Тургенева равнозначно смертельному удару, нанесенному всем либералам. Террористы, убившие императора прямо на улице, были, по его мнению, страшными, безответственными чудовищами, действия которых не мог одобрить ни один разумный человек. Убив самого щедрого из царствовавших в России монархов, они вредили делу революции и заставляли власти усилить репрессии против поборников перемен. «Если и

против нового царя вздумают делать попытки, – писал Тургенев Анненкову, – тогда уж точно – как говорится: завязамши глаза, да беги на край света – пока мужицкая петля не затянула твоей цивилизованной глотки». (Письмо от 6 (18) марта 1881 года.) Он уточнил свою мысль в статье на французском языке о новом императоре, которая была опубликована в «Ревю политик э литерэр»: «Что касается нигилистов, которые предполагают, что император из страха может пойти на весьма большие уступки, даже на конституцию, то они жестоко ошибаются, совершенно не учитывая его характер и энергию. Их попытки запугать могут только остановить его на том пути к либерализму, куда ведет его природная склонность; если он сделает несколько шагов в этом направлении, это будет вовсе не потому, что они его запугивают, а несмотря на то, что они угрожают ему».

Именно в таком настроении он приготовился ехать в Россию. Однако прежде чем отправиться в дорогу, с радостью побывал на свадьбе младшей дочери Полины Виардо Марианны с молодым композитором Альфонсом Дювернуа. «Брак их, вероятно, будет счастлив, – писал он Савиной, – так как они искренне любят друг друга и сошлись характерами вполне. Нечего Вам говорить, как я рад и тоже счастлив, хотя, конечно, в доме чувствуется пустота». (Письмо от 25 марта (6) апреля 1881 года.) И обещал своей корреспондентке скоро увидеть ее в России. 26 апреля – 8 мая 1881 года он отправился в дорогу. В течение всего пребывания во Франции он аккуратно переписывался с Марией Савиной, заботясь о ее здоровье, радуясь ее успехам в театре, вспоминая их последние встречи и «целуя все пальчики правой руки». Приехав в Спасское, он осмелился пригласить Савину к себе в гости. И чудо – она согласилась! Он равно пригласил старых друзей – чету Полонских. В течение четырех дней Савина оживляла дом своей молодостью и смехом. Она купалась в пруду вдали от посторонних взглядов. Завтракали на террасе. Потом Тургенев уходил в свой кабинет. Он заканчивал фантастическую повесть «Песнь торжествующей любви», которую начал писать в Буживале в 1879 году. Вечером вместе с Савиной выходил на балкон «слушать ночные голоса», вдыхал запахи уснувшей деревни, расспрашивал актрису о сердечных делах. Их разговоры, длившиеся допоздна, оставляли в его сердце чувство тихой горечи, неминуемого поражения. 17 июля, в день помолвки Полонских, он устроил ужин, попросил налить шампанского, сказал несколько слов. На поляне перед домом деревенские девки и парни водили хоровод и пели песни. Глаза Савиной блестели. Она покачивала головой и подпевала вместе с хором припев. «Ишь расходилась цыганская кровь!» – говорил Тургенев. И сам

тяжело исполнил несколько па под аккомпанемент Полонского. Потом пригласил Савину и Полонских в кабинет и прочитал им «Песнь торжествующей любви». Эта большая повесть была посвящена памяти Флобера. Действие происходило в Италии в Ферраре в XVI веке. Два молодых человека – художник и музыкант – любят одну девушку Валерию. Художник женится на ней. Музыкант уезжает на Восток и возвращается через четыре года в сопровождении немого малайца. За это время он научился искусству колдовства. При помощи магической силы, которую постиг вдали, он овладевает душой Валерии. Он посещает ее в снах, и она, завороженная и околдованная, отдается ему. Потом он увлекает ее в ночи в домик, где живет, в глубине парка. Оба раза, прежде чем расстаться с ней, он исполняет на скрипке «Песнь торжествующей любви». Вся история, придуманная Тургеневым, была погружена в сверхъестественное, в колдовство, в гипнотизм. Прозрачный стиль автора и необычность рассказа соблазнительно контрастировали друг с другом. Вне всякого сомнения, это произведение было навеяно невозможной любовью к Марии Савиной. Коль скоро она не хотела уступать ему в реальной жизни, не мог ли он, как его итальянский герой, владеть ею хотя бы в мечтах? Чего бы не отдал он, чтобы околдовать по загадочному рецепту своего героя молодую женщину! Поняла ли Савина глубокий смысл повести, которую Тургенев прочитал для нее? В любом случае она слушала с восхищением. Полонские аплодировали. Тургенев сиял. Однако он боялся приема повести прессой. И был прав. За исключением нескольких газет, которые похвалили чистый язык автора, большинство критически оценили экстравагантность интриги. Тургенев хотел, чтобы Савина осталась в Спасском еще на несколько дней. Однако на следующее после чтения утро она уехала. И некоторое время спустя объявила ему о помолвке с Никитой Всеволожским.

После отъезда Савиной Тургеневым овладело мрачное настроение. Его неотступно преследовали мысли о смерти. Узнав о том, что в Брянске разразилась холера, он стал обнаруживать симптомы болезни у себя. Впрочем, Брянск был в трех сотнях верст от Спасского, и Тургенев явно чувствовал себя хорошо. Полонскому, который сделал ему замечание, он ответил: «Запала в меня эта мысль, попало это слово на язык, – и кончено! Мысль, что меня вот-вот захватит холера, ни на минуту не перестает меня сверлить, и что бы я ни думал, о чем бы ни говорил, как бы ни казался спокоен, в мозгу постоянно вертится: холера, холера, холера… Я, как сумасшедший, даже олицетворяю ее; она мне представляется в виде какой-то гнилой, желто-зеленой, вонючей

старухи. Когда в Париже была холера, я чувствовал ее запах: она пахнет какою-то сыростью, грибами и старым, давно покинутым дурным местом. И я боюсь, боюсь, боюсь…»

Однажды ночью в комнату Полонских, которые собирались ложиться спать, вошел взволнованный Тургенев и сказал, что в его окно бьется загадочная птица. Госпожа Полонская проводила его в кабинет, открыла створку окна, взяла в руки маленькую – меньше воробья – птичку с черными испуганными глазами и заперла ее в клетку. Утром она отпустила ее, а Тургенев грустно заметил: «Вот полетела на волю. А какой-нибудь копчик или ястребок скогтит ее и съест». (Я. Полонский. «Воспоминания».)

Птица, бившаяся ночью в окно, казалась, видимо, ему роковой вестью. Бог знает почему, он решил, что умрет 2 октября 1881 года, и сказал доверительно Полонскому: «Ни за что бы я не желал быть похороненным на нашем спасском кладбище, в родовом нашем склепе. Раз я там был и никогда не забуду того страшного впечатления, которое оттуда вынес – сырость, гниль, паутина, мокрицы, спертый могильный воздух…».

Полина Виардо написала ему, что ее укусила ядовитая муха. Тургенев испугался так, что Полонскому и его жене с трудом удалось успокоить его. Нос Полины распух, она не вставала с постели. «Это опасно, – повторял Тургенев, – я должен ехать во Францию!» – «Все бросить: и твое Спасское, и нас, и твои занятия – и ехать?» – спросил Полонский. «Все бросить… и ехать!», – ответил Тургенев. (Я. Полонский. «Воспоминания».) Между Спасским и Буживалем начали летать телеграммы. И волнения Тургенева улеглись: Полина Виардо была вне опасности, он решил дожить лето в усадьбе. Комната, где жила Мария Савина, была названа ее именем: «Комната, в которой Вы жили, так навсегда и останется савинской», – писал Тургенев молодой женщине. И спрашивал о надежности ее помолвки: «Если Ваше супружество ни в каком случае не воспрепятствует Вашей театральной карьере – то почему же не радоваться всем тем, которые дорожат Вами и любят Вас?» (Письмо от 10 (22) августа 1881 года.) В действительности же он глубоко переживал это расставание, неминуемое из-за разницы в возрасте. «Когда и где я с вами увижусь? И чем Вы будете тогда? Г-жой Всеволожской?» (Письмо от 19 (31) августа 1881 года.) Сам он собирался ехать во Францию. «Что же касается до меня, то я хотя телесно еще здесь – но мысленно уже там – и чувствую уже французскую шкурку, нарастающей под отстающей русской».

22 августа 1881 года по дороге в Санкт-Петербург он остановился в Ясной Поляне у Толстого. Был день рождения Софьи Андреевны. Многочисленные гости веселились. Тургенев

предложил игру. Каждый должен был рассказать о самом счастливом мгновении в его жизни. Когда настал черед Тургенева, то он грустно улыбнулся, посмотрел загадочно и прошептал: «Разумеется, самая счастливая минута жизни связана с женской любовью. Это когда встретишься глазами с ней, с женщиной, которую любишь, и поймешь, что и она тебя любит. Со мной это было раз в жизни, а может быть, и два раза».

Слушая его, Толстой с трудом скрывал свое раздражение. А Тургенев тотчас, уступая просьбам молодежи, согласился показать, как в Париже танцевали канкан. Он снял пиджак и заложил пальцы за проймы жилета. В то время, как он грузно подпрыгивал, поднимая ногу, покачивая головой и тяжело дыша, гости аплодировали и смеялись. Наконец, задохнувшись, он упал в кресло. Его окружили и стали расспрашивать о Франции. И он рассказал о ресторанчиках, в которых бывал, и о французских писателях, которые были его друзьями. Он объявил, что осуждает крайности реализма. Потом, естественно, перешел на Достоевского: «Знаете, что такое обратное общее место? Когда человек влюблен, у него бьется сердце, когда он сердится, он краснеет и т. д. Это все общие места. А у Достоевского все делается наоборот. Например, человек встретил льва. Что он сделает? Он, естественно, побледнеет и постарается убежать или скрыться. <<…>> А Достоевский скажет наоборот: человек покраснел и остался на месте. Это будет обратное общее место. Это дешевое средство прослыть оригинальным писателем. А затем у Достоевского через каждые две страницы его герои – в бреду, в исступлении, в лихорадке. Ведь этого не бывает». (Сергей Толстой. «Очерки былого».) Толстой молча одобрял это посмертное разрушение славы, которую сам считал преувеличенной. Но простить Тургеневу его пустой болтовни и глупого выплясывания перед семьей он не мог. И вечером пометил в своем дневнике: «22 августа. Тургенев – cancan. Грустно».

Десять дней спустя был в Буживале. Оттуда, гонимый сырой осенью, переместился в Париж на улицу Дуэ, где нашел семейство Виардо. Полина по-прежнему давала уроки пения, при случае пела немного севшим голосом сама, играла на фортепиано, принимала друзей и поддерживала оживление в доме. Однако ее властного присутствия было недостаточно для того, чтобы занять мысли Тургенева. Расставшись с Савиной, он не переставал мечтать о ней. Кокетка забавлялась тем, что своим жеманством провоцировала этого известного беззащитного старика. Время от времени она даже позволяла ему прикоснуться почтительным дыханием к своим губам. Но ничего более. Это была безобидная

игра, которая нравилась обоим. Зная, что она помолвлена, Тургенев писал ей любовные, беспокойные письма. Он напоминал о «лучистом жгучем поцелуе», который однажды вечером во время ужина она подарила ему. (Письмо от 23 сентября (5) октября 1881 года.) Он возмутился, узнав, что Всеволожский по непонятным причинам откладывал дату свадьбы: «Le vin est tiré, il faut le boire[45] и отступить теперь, после всего, на что Вы согласились – или что допустили, уже невозможно. < < … > > Вы соедините Вашу судьбу с судьбою человека, с которым у Вас, сколько я могу судить, мало общего. Во всяком случае, надеюсь, что Вы, безусловно, выгородите себе свободу сценической деятельности…» – писал он Савиной. (Письмо от 28 сентября (10) октября 1881 года.) И делился безумной мечтой, которая преследовала его на протяжении нескольких дней, – поехать с ней в Италию. «А представьте-ка следующую картину: Венеция, напр., в октябре (лучший месяц в Италии) или Рим. Ходят по улицам – или катаются в гондоле – два чужестранца в дорожных платьях – один высокий, неуклюжий, беловолосый и длинноногий – но очень довольный, другая стройненькая барыня с удивительными (черными) глазами и такими же волосами… положим, что и она довольна. Ходят они по галереям, церквам и т. д., обедают вместе, вечером вдвоем в театре – а там… Там мое воображение почтительно останавливается… Оттого ли, что это надо таить… или оттого, что таить нечего? Однако я порядочные глупости пишу. Засим… (никто ведь этого письма не увидит?) беру в обе руки Вашу милую головку – целую Вас в Ваши губы, в эту прелестную живую розу, и воображаю, что она горит и шевелится под моим лобзаньем. Воображаю… или вспоминаю?..» (Письмо от 18 (30) октября 1881 года.)

Сердечные дела Марии Савиной были на самом деле очень запутанны. Она была невестой Никиты Всеволожского, с нежностью относилась к Тургеневу и равно благосклонно к ухаживаниям тридцативосьмилетнего генерала Михаила Скобелева. Тургенев досадовал на эту путаницу, но ни за что на свете не прервал бы переписки с неуловимой Савиной. А она, по ее словам, устала от театральной жизни и мечтала на несколько месяцев покинуть сцену. Только бы она не заболела!

Насколько Тургенев восхищался талантом Савиной, настолько же не переносил пафос французских актрис, и в особенности Сары Бернар. Узнав о том, что та собирается петь в Петербурге, он писал Стасюлевичу: «В виде личной услуги прошу Вас поручить Вашему театральному рецензенту, когда Сара Бернар приедет в Петербург, пребольно высечь эту бездарнейшую пуфистку и кривляку, у которой только и есть, что прелестный

голос – а все остальное ложь, фальшь и дряннейший парижский *шик*». (Письмо от 2 (14) декабря 1881 года.)

Савиной необходимо было отдохнуть – она собралась поехать в Италию. Тургенев с некоторой досадой одобрял ее: «Я прожил во Флоренции – много, много лет тому назад (в 1858 году) – десять прелестнейших дней << … >> а между тем я был там один… Что бы это было, если бы у меня была спутница, симпатическая, хорошая, красивая (это уж непременно)… Тогда мне еще сорока лет не было. Года почтенные… но я был еще очень молод – не та развалина, которою я являюсь теперь. << … >> Вы красавица – и не каменная; только согреваетесь Вы не моими лучами. Вам нужен воин – и молодой, и *бессмертный.* Что ж! Вы правы!» (Письмо от 13 (25) марта 1882 года.)

В конце марта 1882 года Савина приехала, наконец, в Париж. Тургенев навестил ее и, преподнося букет азалий, сказал: «Цветите, как они». Он был озабочен. Дочь Полинетта переживала трагедию. Муж разорил ее, пустился в пьянство, грозился убить. Она должна была бежать и искать пристанища у отца. «Возьми обоих своих детей – и приезжай с ними сюда, – писал ей Тургенев. – Я найду тебе квартиру – и мы немедленно начнем дело о раздельном жительстве и разделе имущества». (Письмо от 14 (26) февраля 1882 года.) Кроме того, был тяжело болен Луи Виардо. Наконец, сам Тургенев страдал от невралгии. Тем не менее встреча с Савиной успокоила его. Всякий раз, когда он оказывался рядом с ней, казалось, возвращалась молодость. Сегодня больше, чем когда-либо, она нуждалась в нем. Не только потому, что не знала, кого она на самом деле любила, но потому, что беспокоилась за свое здоровье. Врачи, у которых она консультировалась, терялись в догадках о причинах ее недомогания. Тургенев пустил в ход все свои связи и добился того, чтобы ее осмотрел знаменитый доктор Шарко. Однако тот, казалось, больше озабочен был состоянием самого Тургенева, чем его протеже. Послушав его, он поставил диагноз грудная жаба и посоветовал не выходить из дома десять дней.

Савина навестила его в доме № 50 на улице Дуэ[46]. Чувство жалости и ревности охватило ее, когда она поняла, какую жизнь вел он рядом с семейством Виардо. «Великолепная Полина» подавляла его слепящей властностью. Рядом с ней он жил будто в домашнем и сентиментальном рабстве; конечно, у него были свои блага в доме, он мог уединиться в своей квартире на верхнем этаже, у него была личная служанка, достаточно денег. Однако с утра до вечера присутствие Полины, голос Полины сопровождали его жизнь. Он терял всю свою волю, себя самого рядом с ней.

Расстроенная Савина уехала в Россию. Она рассказала о

своих впечатлениях Полонскому; тот сообщил Тургеневу о беспокойстве, которое тревожило его по его поводу. Тургенев тотчас рассердился. «Чудачка же она! Из всех моих четырех комнат она видела только одну – спальню, которая не меньше и не ниже обыкновенных парижских спален. Музыка надо мною не только не надоедала мне – но я даже истратил 200 фр. для устройства слуховой длинной трубы, чтобы лучше ее слышать; Виардо, точно, очень стар – да ведь и я не розанчик – и видел я его всего раз в день, и то на 5 минут; а прелестные дети г-жи Виардо и она сама беспрестанно у меня сидели. Жалеть обо мне можно было только потому, что я болен и, кажется, неизлечимо; во всех других отношениях я как сыр в масле катался». (Письмо от 30 мая (11) июня 1882 года.)

В самом деле навязчивая мысль о болезни ни на минуту не покидала Тургенева. Склонный предполагать худшее, он считал себя конченым человеком. «Я заболел странной, глупой, неопасной, но едва ли излечимой болезнью – angine de poitrine[47] – писал он Анненкову. – Она состоит в том, что когда человек лежит неподвижно – он здоров, но как только встает или сделает несколько шагов (о восхождении на лестницу и речи быть не может) – с ним делаются невыносимые боли сперва в левом плече, потом во всей груди, а потом прерывается дыхание. Вот уже 14 дней, как я сижу взаперти у себя в комнате. Шарко, к которому я наконец обратился, определил мою болезнь – nevralgie cardialogique goutteuse[48], прописал мне лекарство, предуведомив меня, что la medecine est impuissante contre ces maladies qui finissent par s'user elles-mêmes[49], а на мой вопрос: когда же я могу надеяться выехать отсюда – с прелестной улыбкой отвечал: que c'est absolument incertain, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être!»[50] (Письмо от 11 (23) апреля 1882 года.) А Людвигу Пичу Тургенев доверительно писал: «Я здесь в хороших руках. <<…>> Мне уже изжарили все плечо посредством pointes de feu[51] – и завтра опять пойдет поджаривание – но все это делается только ради принципа. Надежды на выздоровление нет *никакой*. Со мной как с живым существом покончено; личность же еще сможет немного побарахтаться». (Письмо от 24 апреля (6) мая 1882 года.)

Несколько дней спустя он почувствовал себя немного лучше и встал с постели. «Сегодня я мог встать с постели – правда, с помощью двух ассистентов – сидеть на кресле с 1/4 часа – и простоял на ногах минуты две, что особенно важно, – писал он Жозефине Полонской. – Подагра моя почти на исходе, и боль в груди и плече значительно ослабла. Правда, у меня 4 дня тому назад ни с того ни с сего сделался очень мучительный припадок

желчевой колики». (Письмо от 8 (20) мая 1882 года.) Он совсем потерял голову, узнав, что Жозефина Полонская собиралась ехать в Париж ухаживать за ним. Полина Виардо так преданно заботилась о больном, что никогда не согласилась бы разделить свои обязанности с посторонней. Он не мог позволить задеть честолюбие своего «ангела-хранителя» и тотчас написал Полонским, чтобы отговорить их от поездки: «Помогать мне, ухаживать за мною – немыслимо; мои дамы, которые с таким самоотвержением исполняют должность сестер милосердия, сочли бы всякое чужое вмешательство за оскорбление – да просто не допустили бы этого». (Письмо от 18 (30) мая 1882 года.) Полонские, расстроившись, отказались от своего намерения.

Тем временем Тургенев получил письмо-сострадание от Толстого, написанное в духе хозяина Ясной Поляны: «Известия о Вашей болезни << … >> ужасно огорчили меня, когда я поверил, что это серьезная болезнь. Я почувствовал, что если Вы умрете прежде меня, мне будет очень больно». (Письмо от 1 (13) мая 1882 года.) Не теряя самообладания, Тургенев ответил ему, чтобы поблагодарить за заботу. «Что же касается до моей жизни – так я, вероятно, еще долго проживу, хотя моя песенка уже спета; вот Вам еще долго жить – и не только для того, что жизнь все-таки дело хорошее, а для того, чтобы окончить то дело, к которому Вы призваны – и на которое, кроме Вас, у нас мастера нет». (Письмо 14 (26) мая 1882 года.)

Так как больной меньше жаловался на боли, было решено на семейном совете перевезти его в Буживаль, где весна, свежий воздух, вид на сад из окна ускорят, возможно, его выздоровление. Он порадовался этой перемене обстановки и подготовился к ней, разобрав свои бумаги. 6 июня 1882 года его, «как сундук», по его собственному выражению, погрузили в коляску. Закутанный пледом, подавленный, переживая тряску в экипаже, он спрашивал себя – достанет ли у него сил перенести это путешествие до конца?

Глава XV
Последнее возвращение

Вопреки надеждам Тургенева деревенский воздух не повлиял на течение его болезни. Первые дни в Буживале были особенно трудными. Несмотря на прекрасный, открывавшийся из окна вид на парк с нежной листвой, цветочными клумбами, прелестными бабочками он с ужасом следил за развитием своей болезни. Доктор Жакку, доктор Бертинсон прописали ему молоко. Он с отвращением поглощал его по двенадцать стаканов в день. «Болезнь моя определилась теперь как хроническая – и ни один врач не может сказать, как долго она будет сидеть во мне, – писал он Людвигу Пичу. – Ни о какой работе, ни о какой поездке и думать нечего – и так может длиться годами!» (Письмо от 18 (30) июля 1882 года.) Даже сидя, он чувствовал сильные межреберные боли. Ночью страдания усиливались. Тем не менее в редкие минуты передышки он пытался интересоваться тем, что происходило в мире. Прочитав брошюру о погромах в России, Тургенев переживал, что слишком слаб для того, чтобы написать о них статью. Он выразил свое сочувствие к гонимым евреям в письме к Колбасину. «Единственным средством к прекращению всех этих безобразий было бы громкое царское слово, которое народ услышал бы в церквах << … >> но царское слово молчит, и что может значить отдельный голосок какой угодно *интеллигенции*. „Новое время“ (реакционный журнал. – **А.Т.**) заплюет и уличит тебя в желании порисоваться или даже намекнет, что тебя евреи подкупили. Остается только краснеть за себя, за свою родину, за свой народ – и молчать. Я еще так плох, что не могу долго писать; если станет лучше – дам Вам знать; если же не будет письма, так уж и знайте, что был когда-то писатель такой-то, в свое время что-то – немногое – сделавший; а теперь уж его нет; а живет где-то больной старик, который не только вперед не заглядывает – да и вокруг себя старается не глядеть». (Письмо от 27 мая (8) июня 1882 года.)

Он не мог писать и завидовал собратьям, которые невозмутимо продолжали путь. Литература не оставляла его в покое даже теперь – больного. Он высказывал свое мнение с той же строгостью, что и раньше. Его все больше и больше раздражала цветистость Гюго. Он противопоставлял ему искреннюю простоту и правду Толстого и не разделял увлечения некоторых Бальзаком. «Я никогда не мог прочесть более десяти страниц сряду, до того он мне противен и чужд», – писал он

Вейнбергу. (Письмо от 22 октября (3) ноября 1882 года.) И горячо рекомендовал Стасюлевичу «Жизнь» Мопассана: «Я положительно пришел в восторг: со времени появления „Г-жи Бовари“ ничего подобного не появлялось». (Письмо от 12 (24) ноября 1882 года.)

Он смотрел из окна кабинета на сад и с грустью мечтал о большом, ожидавшем его доме в Спасском. Как бы еще раз хотелось побывать в местах своей юности. По его просьбе семья Полонских согласилась обосноваться там на лето. «Когда вы будете в Спасском, – писал он им, – поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я, вероятно, никогда не увижу». (Письмо от 30 мая (11) июня 1882 года.) Полонские послали ему в письме цветы и листья из спасского парка. Он долго рассматривал со слезами на глазах это дорогое напоминание о родине. Крестьяне Спасского написали ему письмо, в котором желали скорейшего выздоровления. Он поблагодарил их за заботу и писал: «Дошли до меня слухи, что с некоторых пор у вас гораздо меньше пьют вина; очень этому радуюсь и надеюсь, что вы и впредь будете от него воздерживаться: для крестьянина пьянство – первое разорение. Но жалею, что, тоже по слухам, ваши дети мало посещают школу. Помните, что в наше время безграмотный человек то же, что слепой или безрукий». (Письмо от 4 (16) сентября 1882 года.)

Теперь доктора придумали устроить у него на плече аппарат, который опирался на левую ключицу. Это приспособление принесло некоторое облегчение. Однако малейшее неожиданное движение вызывало в груди боль. Он не мог поднять руку над головой. «Меня должны чесать и умывать другие руки», – признавался он госпоже Полонской. (Письмо от 1 (13) июня 1882 года.) Чтобы облегчить страдания, к телу прикладывали горячие салфетки. На ночь впрыскивали небольшую дозу морфия. И по-прежнему много молока. Он уже не жил, он переживал и принимал это испытание с фатальным мужеством. Он не был верующим человеком и не искал утешения в надежде на иной мир. Однако ощущение его было с ним на протяжении всего дня. Оно вдохновляло его, несмотря на усталость, писать время от времени стихотворения в прозе и рассказ, который первоначально получил название «После смерти».

В этот горький безнадежный мир, лишь редкие письма Марии Савиной приносили утешение и поддержку. «Вспоминайте иногда, как мне было тяжело проститься с вами в Париже, *что я тогда почувствовала!*»– писала она ему. Тургенев взволнованно отвечал: «Ваше письмо упало на мою серую жизнь как лепесток розы на поверхность мутного ручья. <<…>> Знаю наверное, что, столкнись наши жизни раньше… Но к чему все это? Я, как

мой немец Лемм в „Дворянском гнезде“, в гроб гляжу, не в розовую будущность…» (Письмо от 7 (19) июня 1882 года.)

В следующем месяце, покончив с колебаниями, Мария Савина вышла замуж за Никиту Всеволожского. С едва скрываемым раздражением Тургенев поздравлял ее с этим решением: «Прежде всего позвольте поздравить Вас не столько с браком, сколько с выходом из ложного положения», – писал он ей. И так как она обещала прислать ему гипсовый слепок своей руки, добавлял: «А пока целую не гипсовую, а живую – и сверх того, что Вы, при новом Вашем положении, согласитесь предоставить моим ласкам». (Письмо от 27 июля (8) августа 1882 года.)

В августе он почувствовал себя немного лучше и воспользовался передышкой, чтобы закончить повесть «После смерти». Это произведение, получившее впоследствии название «Клара Милич», стало еще одной историей неразделенной любви и мрачного колдовства. Оно было навеяно реальными событиями, происшедшими с певицей Кадминой, в которую безумно влюбился некий профессор зоологии Аленицын после того, как она покончила жизнь самоубийством. Героиня Тургенева Клара Милич – молодая, талантливая актриса – влюбилась в холодного аскетичного Аратова. Отвергнутая им, она отравилась на сцене. После ее смерти Аратова преследуют магические воспоминания о ней. Он не любил ее живую, а теперь желал – мертвую. Она завладела им, посещала ночью в снах, сводила с ума пагубными наслаждениями, толкала к смерти.

Как большинство неверующих, Тургенев, отрицавший церковные догмы, неожиданно стал страстно надеяться на жизнь вечную. По мере того как иссякали его силы, он начинал верить в потусторонний мир, который не будет напрочь отрезан от нынешней жизни. Эта смутная надежда жила в нем рядом с заботой о совершенстве формы его произведения. Задуманная в условиях невероятных физических страданий, «Клара Милич» отличалась ослепительной чистотой стиля. Никогда Тургеневу в такой степени не удавалось соединить загадочность сюжета с ясностью языка. Первые читатели, познакомившиеся с текстом, были удивлены тем, что это произведение написал старый, больной человек. Пресса назвала «Клару Милич» «поэтической жемчужиной», «светлой правдой». Удивленный подобным приемом Тургенев позднее пометит в своем дневнике: «Повесть моя появилась и в Петербурге и в Москве – и, кажется, и там и тут понравилась. Чего!! Даже Суворин в „Новом времени“ расхвалил!» (И.С. Тургенев. «Дневник», 15 (27) января 1883 года.) И там же: «Кто знает – я, может быть, пишу это за несколько дней до смерти. Мысль невеселая. Ничтожество меня страшит – да и

жить еще хочется… хотя… Ну, что будет – то будет!» (Там же, 31 декабря 1882 года (12) января 1883 года.)

Литературная гордость продолжала жить в нем несмотря на то, что тело угасало. С безнадежным отчаянием он правил корректуры нового собрания своих сочинений. Он хотел оставить за собой памятник из безупречных страниц. Только бы хватило сил довести до конца это необходимое дело! «Мое положение – престранное, – писал он Толстому. – Человек вполне здоров… Только ни *стоять* – ни *ходить* – ни *ездить* не может – без того чтобы у него в левом плече не заломило нестерпимо, как от гнилого зуба. Пренелепое положение, вследствие которого я осужден на неподвижность. И сколько времени это продолжится – тоже неизвестно. Понемногу привыкаю к этой мысли – но это нелегко. Впрочем, я последнее время опять принялся за работу». (Письмо от 19 (31) октября 1882 года.)

В ноябре 1882 года он собрался с силами и вернулся в Париж, чтобы провести там зиму рядом с семьей Виардо. В декабре страдания усилились. Пришлось увеличить дозы морфия на ночь. Взволнованный Тургенев отправил Анненкову письмо, в котором просил разобрать его свои бумаги после смерти. Тем не менее 5 января 1883 года, почувствовав неожиданный возврат сил, он с трудом добрался до улицы Риволи, чтобы посмотреть похороны премьер-министра Франции Гамбетты. «Ничего подобного я никогда не видел и, вероятно, не увижу», – писал он Топорову. (Письмо от 26 декабря 1882 (7) января 1883 года.) И порадовался, что среди гор цветов, сопровождавших катафалк, был венок из белых лилий с надписью «Гамбетте от русских друзей во Франции».

Восемь дней спустя по совету лечащих врачей его оперировал молодой хирург Поль Сегон от «такой же большой, как гнилая слива, нейромы», расположенной в низу живота. Так как об усыплении в его состоянии не могло быть и речи, его оперировали без анестезии. Операция длилась 12 минут. По истечении недели он написал госпоже Полонской: «Рана заживает, через неделю я встану». Однако его общее состояние вместо того, чтобы после хирургического вмешательства улучшаться, с угрожающей быстротой ухудшалось. «Старая моя болезнь вернулась с удвоенной силой, – написал он вскоре Топорову, – *никогда мне не было так худо.* Не только стоять или ходить – даже лежать я не могу – и без впрыскиванья морфином не в состоянии был бы спать». (Письмо от 17 (29) января 1883 года.) Страдать заставляло теперь не только левое плечо. Спина, грудь были средоточием огненной, стреляющей боли, которая прерывала дыхание. Шарко вновь осмотрел его, сказав, что

обострилась невралгия. Вне всякого сомнения, он из милосердия хотел скрыть от своего больного, что так называемый неврит был раком спинного мозга. После его ухода страдания Тургенева возобновились с новой силой. Несмотря на согревающие компрессы, хлорал и хлороформ, он не мог сдерживать крики. Однако несколько дней спустя абсцесс, на который он жаловался, прорвался с гноем и кровью, и, испытав облегчение, он написал Анненкову: «Авось на этот раз поправлюсь наконец!» (Письмо от 26 марта (7) апреля 1883 года.)

Когда физические страдания давали передышку, возвращались волнения и заботы о дочери. Несчастная женщина вынуждена была уйти от мужа и укрыться с детьми – Жанной и Жоржем-Альбером – в отеле Куронн в Солере в Швейцарии. Тургенев регулярно посылал ей деньги. 21 февраля (5) марта 1883 года он написал ей еще раз по-французски дрожащей рукой: «Дорогая Полинетта, вот 400 франков за март месяц. Мое здоровье ничуть не лучше, и я провожу дни в постели. Целую тебя и детей».

Воспользовавшись некоторым облегчением в состоянии больного, его навестил на улице Дуэ Альфонс Доде. «Дом был по-прежнему полон цветов, – напишет он позднее, – звонкие голоса по-прежнему звучали в нижнем этаже, мой друг по-прежнему лежал у себя на диване, но как он ослабел, как он изменился!» Тургенев описал ему как настоящий литератор, для которого важна малейшая деталь, свои страдания. «Тургенева не усыпляли, и он рассказал мне об операции, ясно сохранившейся в его памяти. Сначала он испытал такое ощущение, словно с него, как с яблока, снимали кожуру, затем пришла резкая боль – нож хирурга резал по живому телу». В заключение Тургенев сказал Доде со своей обычной простотой: «Я анализировал свои страдания, чтобы рассказать о них на одном из наших обедов. Я подумал, что это может вас заинтересовать». (А. Доде. «30 лет в Париже».)

В середине апреля 1883 года было решено перевезти Тургенева в Буживаль. На внутренней площадке его ждал в своем кресле-каталке тоже очень больной, исхудавший, суровый Луи Виардо. Друзья молча пожали друг другу руки, обменялись долгим безнадежным взглядом и, наконец, одновременно прошептали «прощай». Им не суждено будет больше увидеться никогда.

Несколько дней спустя 6 мая 1883 года восьмидесятитрехлетний Луи Виардо угас на руках у своей жены. Так как всю жизнь он оставался убежденным атеистом, то его похоронили по-гражданскии на кладбище на холме Монмартр. Неделю спустя после похорон Полина Виардо возобновила уроки

пения. Потом вся семья переехала к Тургеневу в Буживаль. Смерть Луи Виардо потрясла его, истощив последние силы. Он понимал, что потерял друга, с которым был близок на протяжении сорока лет, человека, с которым перевел множество произведений, который был его постоянным спутником на охоте, жену которого он глубоко любил. Что осталось от мирных разговоров, от этой странной привязанности? Тургеневу казалось, что смерть Луи Виардо открыла дорогу, по которой он сам скоро пойдет. «Как мне хотелось бы сегодня же присоединиться к моему другу!» – вздыхал он. А госпоже Полонской писал: «Болезнь не только не ослабевает, она усиливается, страдания постоянные, невыносимые – несмотря на великолепнейшую погоду – надежды никакой. Жажда смерти все растет». (Письмо от 12 (24) мая 1883 года.)

Боли были такими сильными, что он умолял Полину Виардо выбросить его из окна. Только морфий временами расслаблял его сознание. Тогда он видел себя в морской пучине – на него набрасывались чудовища; то ему казалось, что в еду его добавляли яд. Терпеливо и настойчиво ухаживавшая за ним Полина Виардо вдруг казалась ему леди Макбет. Она наняла двух сиделок – мужчину и женщину. Тургенев смиренно, даже с благодарностью принимал их заботу. В минуты просветления захотелось написать письмо Толстому, чтобы убедить его оставить философию и вернуться к литературе. Никакой зависти в этом человеке на пороге смерти, только глубокое, беззаветное преклонение перед искусством. Он написал карандашом на клочке бумаги:

«Милый и дорогой Лев Николаевич!

Долго Вам не писал, ибо был *есмь,* говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу – и думать об этом нечего. Пишу же я Вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником – и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!! Я же человек конченый – доктора даже не знают, как назвать мой недуг, nevralgie stomatique goutteuse[52]. Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это! Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших. Не могу больше, устал». (Письмо от 29 июня (11) июля 1883 года.) Обращение умирающего тронуло Толстого, однако ответить ему

он не счел нужным. Позднее он будет упрекать себя за это.

В июне Тургенев, вернувшись к своим юношеским воспоминаниям, захотел написать рассказ о пожаре на борту парохода, который вез его в первый раз в Германию. Однако перо или карандаш он уже держать в руках не мог. И продиктовал его по-французски Полине Виардо. Несколько недель спустя в голову пришел новый замысел – повесть, которую он назвал «Конец». На этот раз Полина Виардо записала текст под диктовку, как смогла, по-французски, немецки и итальянски. Герой повести – обедневший, потерявшийся в жизни молодой дворянин – кончает жизнь самоубийством. Изнуренный болезнью Тургенев, собрав все свои силы, напрягая память, мысленно из далекого Буживаля возвращался в Россию. Не лучше ли было бы умереть в Спасском, а не в этом уголке чужой земли, где все вокруг него говорили по-французски? Нет, нет, он не может обходиться без Полины. Она единственная заменила ему все, что он потерял, покинув родину. Во время встречи со Стасюлевичем, бывшим проездом во Франции, он сказал: «Я желаю, чтоб меня похоронили на Волковом кладбище, подле моего друга Белинского; конечно, мне прежде всего хотелось бы лечь у ног моего „учителя“ – Пушкина; но я не заслуживаю такой чести». (М. Стасюлевич. «Воспоминания».)

Теперь он знал, что дни его сочтены. А может быть, и пора? В шестьдесят пять лет он – как ему казалось – слишком много пожил, слишком много написал. Он был прикован к большой постели с балдахином, и его единственным миром были стены и мебель комнаты. Сознание почти не возвращалось. Он жаловался на то, что его атакуют ассирийские солдаты, и собирался защищаться, кидая в ноги стоявших у его изголовья людей камни, вырванные из стен крепости. 21 августа (2) сентября 1883 года в Буживаль приехал князь Мещерский. У изголовья умирающего он застал все семейство Виардо: Полину, ее сына Поля, двух ее дочерей Клоди и Марианну, двух зятьев Дювернуа и Шамеро. Все с тревогой следили за изможденным, искаженным страданием лицом, за глазами, затуманенными бредом. Он говорил по-русски с этими не понимавшими его людьми; читал стихи, выученные в детстве. Вдруг он прошептал: «Ближе, ближе ко мне, пусть я всех вас чувствую тут около себя… Настала минута прощаться… прощаться… как русские цари… Царь Алексей… Царь Алексей…» Показалось, что на мгновенье он узнал Полину Виардо и произнес отчетливо: «Вот царица цариц, сколько добра она сделала!»

На ночь женщины ушли; князь Мещерский, Поль Виардо, Дювернуа и Шамеро остались у изголовья умирающего. Ему ввели сильную дозу морфия и дали несколько глотков молока. Утром

22 августа (3) сентября он начал волноваться. Лицо исказила судорога, на руках появились красные пятна. Около двух часов пополудни он попытался подняться на подушках, брови страдальчески сдвинулись, из приоткрытого рта вырвалось хрипение. Он вытянулся и затих. Женщины зарыдали. Мужчины опустили головы. После посмертного туалета лицо Тургенева предстало во всей своей спокойной красоте. Как будто бы он решил загадку, которая мучила его всю жизнь – загадку странной принадлежности двум странам. «Казалось, что он вот-вот улыбнется», – напишет Полина Виардо Людвигу Пичу. Пригласили фотографа и муляжиста, чтобы сделать маску с лица усопшего, отправили телеграммы во все концы Европы. Сначала Полинетте в Швейцарию. Полина Виардо и ее дочь Клоди Шамеро сделали несколько портретов Тургенева на смертном ложе[53].

Отпевание состоялось в Париже в православной церкви на улице Дарю. По словам Эдмона де Гонкура, «богослужение у гроба Тургенева вызвало <<…>> из парижских домов целый мирок: людей богатырского роста с расплывчатыми чертами лица, бородатых как бог-отец, – подлинную Россию в миниатюре, о существовании которой в столице и не подозреваешь». (Гонкур. «Дневник», 7 сентября 1883 года.) Тело в Россию отправляли на поезде. На Северном вокзале Ренан и Эдмон Абу произнесли речи.

Тем временем в России газеты получили секретное распоряжение Министерства внутренних дел, запрещавшее разглашать меры, которые были предприняты полицией во избежание волнений по время похорон. В самом деле, известие о смерти Тургенева было осознано в России как событие национального значения. Этот человек, которого хулили при жизни, после своей смерти оставлял ощущение невосполнимой пустоты. Лишь у его праха общество осознало, что не воздало достаточно чести этому упрямому либералу, уравновешенному, мягкому человеку, который завоевал любовь народа и любовь культурного мира, который верил в Россию и снискал восхищение Запада. Плакавшие над его романами стали рядом с теми, кто ценил его за глубокую мысль. Единодушие воцарилось между интеллектуалами и сентиментальными женщинами, между любителями искусства и людьми дела. Тургенев возвращался домой победителем. Но слишком поздно. Он уже не сможет грустно улыбнуться этому повороту в отношении к своей судьбе и творчеству.

«Я ждал смерти Тургенева, – написал Толстой своему другу Страхову, – и тем не менее, я часто думаю о нем». (Письмо от 2 сентября 1883 года.) А несколько дней спустя – своей жене: «Я

беспрестанно думаю о Тургеневе, и я его ужасно люблю и жалею, перечитываю его. Я живу с ним… Только что перечитал „Довольно“. Прочитайте – это чудо!» (Письмо от 30 сентября 1883 года.)

Шли дни. Власти все больше беспокоились. Писатель, смерть которого вызвала такое волнение общества, становился нарушителем покоя. Террористы опубликовали прокламацию, в которой назвали Тургенева другом революционной молодежи. Политические заключенные собрали деньги на венок. Санкт-Петербург готовил грандиозную встречу. 27 сентября (9) октября 1883 года громадная толпа с плакатами, транспарантами, гирляндами цветов сопровождала тело до кладбища. За гробом шли Клоди и Марианна, приехавшие на похороны с мужьями. На всем пути траурного шествия тротуары были заполнены толпами людей. «Таких похорон еще не бывало в России, да и едва ли будет, – писал в своем дневнике публицист Гаевский. – Замечательно отсутствие всякой официальности: ни одного военного мундира, ни одного не только министра, но сколько-нибудь высокопоставленного лица. Администрация, видимо, была напугана. На кладбище послано было, независимо от полиции, 500 казаков, а на дворах домов и в казармах по пути шествия находились войска в походной форме. Думал ли бедный Тургенев, самый миролюбивый из людей, что он будет так страшен по смерти!»

Несмотря на огромное стечение народа, инцидентов не было. Тургенева похоронили, как он того желал, на Волковом кладбище недалеко от могилы Белинского. У открытой могилы, окруженной грудами цветов, было произнесено множество речей. В безоблачном небе холодно сияло солнце. Прижавшись друг к другу, люди зачарованно смотрели на гроб в глубине могилы. Все оплакивали Тургенева, размышляли над его странной судьбой. Он никогда не забывал России, живя вдали от нее. Теперь он вернулся на землю своей юности. В глазах соотечественников ценностью являлась уже не его жизнь, но его творчество. Его произведения, написанные частично за границей, были русскими по духу и мысли. Разве это не чудо – он был вдохновенным певцом своей родины и в то же время человеком, который открылся всем соблазнам Европы?

notes

Примечания

1

«Этот высокий господин Тургенев, который причитал… который говорил: умереть таким молодым…»

2

«Ах, Жан, ты – мое солнышко, я вижу только его, а когда оно заходит, я ничего уж не вижу». (*Фр.*)

3

Молодой слуга В.П.

4

В документах она была записана под фамилией Лутовинова. Ее фамилия в замужестве Житова.

5

Одна из дочерей Берса, родившаяся в 1844 году, станет женой Льва Толстого.

Тургенев-Лутовинов.

Умерла в 1836 г.

«безграничное самомнение». (Письмо Герцена к Кетчеру от 1 марта 1844 года.) В то время как Белинский в этом молодом писателе – излишне утонченном и немного рассеянном – увидел надежду русской литературы *(фр.)*.

9

Писатель и писарь – одно и то же *(фр.)*.

10

Он вспомнит об этом сне, создавая повесть «Призраки».

11

Если Богу будет угодно *(исп.) (прим. пер.)*.

12

Дети мои! Простите меня. И ты, Господи, прости меня, ибо гордость, этот смертный грех, был всегда моим грехом *(фр.)*.

13

Варвара Петровна умерла 16 ноября.

14

Дневник Варвары Петровны не сохранился.

разводные эссенции *(фр.)* (прим. пер.).

16

Она была замужем за другим Толстым – Валерианом Петровичем.

17

Смотри-ка, поляка убили *(фр.)* (прим. пер.).

18

Назвался груздем – полезай в кузов *(фр.)*(прим. пер.).

19

Поль Виардо родился 20 июля 1857 года.

Вопрос не очерчен точно специалистами. Однако большинство из них верит в его отцовство, и потомки семейства Виардо склоняются к той же гипотезе.

21

…и наоборот *(лат.)*.

…до бесконечности *(лат.)*.

23

…конец *(лат.)*.

24

Мандарин – европейское название крупных чиновников в старом феодальном Китае.

шедевр *(фр.)*.

облачение *(фр.)*.

27

Я наглотался ужасов (Л.С.) *(англ.)*.

28

Луиза Эритт опубликует в 1908 году недоброжелательные воспоминания об отношениях Тургенева с ее родителями. Эти воспоминания будут изданы ее сыном под заглавием «Семья великого музыканта. Воспоминания Луизы Эритт Виардо». (1928 год.)

29

Звездная арка *(фр.)*.

Как человек *(лат.)*.

31

Прощай, Франция *(лат.)*.

32

Эта библиотека, носящая имя Тургенева, была вывезена немцами во время оккупации Парижа в 1940–1944 гг. Она была возвращена.

33

Пророгация – отсрочка заседаний парламента по решению главы государства.

мимолетное увлечение *(фр.)*.

ул. де Дуэ *(фр.)*.

«Ясени» *(фр.)*.

«Народное благосостояние» *(фр.)*.

Поздравим наших героев *(фр.)*.

39

Пророк *(нем)*.

Варвары! Нашествие варваров *(нем.)*.

41

До востребования *(фр.)*.

чествования *(фр.)*.

захлопнулась навсегда *(фр.)*.

«Пышка» (*(фр.)*.

45

Назвался груздем, полезай в кузов *(фр.)*.

46

Частный дом Виардо, имевший № 48 по ул. Дуэ, сегодняшний № 50.

47

Грудная жаба *(фр.)*.

Сердечная подагрическая невралгия *(фр.)*.

49

Медицина бессильна перед этими болезнями, которые заканчиваются тем, что проходят сами *(фр.)*.

50

Это совершенно безразлично, через несколько недель, через несколько месяцев, может быть *(фр.)*.

прижиганий *(фр.)*.

желудочно-подагрическая невралгия *(фр.)*.

53

Шале Тургенева в Буживале было недавно восстановлено и стало его мемориальным музеем. Полина Виардо дожила до 1910 года. Дочь Тургенева, Полинетта, стала вдовой некоторое время спустя после смерти отца и умерла в 1919 году.